SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- А. М. Скабичевский
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V
  - ГЛАВА VI
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

А. М. Скабичевский
Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк А. М. Скабичевского.

С портретом Писемского, гравированным в Петербурге К. Адтом.

ГЛАВА I

Происхождение Писемского. – Среда, в которой он провел свое детство и юность. – Детские годы. – Домашнее воспитание. – Костромская гимназия и Московский университет

Алексей Феофилактович Писемский, один из первостепенных русских писателей, принадлежит к плеяде тех беллетристов сороковых годов, которые, ведя свое происхождение от Гоголя, тем не менее пошли по совершенно самостоятельному пути и обогатили русскую литературу рядом могучих произведений, сразу поставивших ее на один уровень со всеми европейскими.

Беллетристы сороковых годов замечательны, кроме того, тем, что, образуя одну школу, они в то же время не только не теряют своей индивидуальности, но, напротив, представляют разнообразные типы, являясь совершенно самостоятельными и оригинальными художественными личностями. То же самое следует сказать и о Писемском.

Эта оригинальность каждого из беллетристов сороковых годов, кроме разных других причин и обстоятельств, наиболее определяется средой, из которой вышел тот или другой из них, так как среда всегда налагает резкую и неизгладимую печать как на характеры, так и на ход жизни исторических личностей. Принимая это во внимание, мы, прежде чем начнем излагать факты жизни Писемского, скажем несколько слов о нравах той среды, из которой он вышел, убежденные, что такая характеристика послужит нам путеводной звездой к определению многих черт Писемского как человека и писателя.

Итак, начнем с того, что Писемский по своему происхождению принадлежит к среде захолустного мелкопоместного дворянства, нравы которого в начале нынешнего (XIX – *Ред.)* столетия резко отличались от нравов всех прочих сословий, не исключая и богатого дворянства.

Богатое дворянство в то время было средоточием образованности и культуры русского общества. Стремление стоять на высоте европейской цивилизации, во всем походить на европейцев доходило в этой среде порою до забвения родного языка. Шикарство, комильфотство и стремление к изысканной утонченности нравов составляли предмет строгого культа.

В то время как увлечение передовыми идеями Запада вело здесь к крайнему идеализму, доходившему до полной потери ощущения действительности, легкая возможность удовлетворить всем прихотям на почве крепостного права обусловливала

изнеженность и распущенность нравов, мало уступавшие таким же качествам французской знати эпохи регентства.

Совсем иное видим мы в среде мелкопоместного дворянства. Малая образованность и культурное невежество доходили здесь порою до полной безграмотности, и если, по словам поэта, “бывало, русский генерал служил и грамоты не знал”, то чего же было требовать от бедных помещиков разных медвежьих углов и степных захолустий? Домостроевская строгость семейного быта шла здесь рука об руку с еще более неумолимой суровостью по отношению к крепостным, которых у барина было немного и которые поэтому все были наперечет; барин имел возможность входить в жизнь и интересы каждого своего раба, и идеал его как барина заключался в том, чтобы держать всех их в ежовых рукавицах.

Скудость средств развивала здесь энергию борьбы за существование; некогда было идеальничать и заноситься за облака в опасности умереть с голоду, и на сцену являлись трезвая практичность, скопидомство, доходившее порой до черствого кулачества и скаредности. Материальные расчеты преобладали; даже и женились по большей части на основании таблички сложения, так как в сумме 50 душ крестьян да еще 50 составляли 100, и состояние удваивалось.

Но зато, при верности праотеческим традициям, здесь более сохранялись своеобразные черты русской жизни. Бедный помещик ближе стоял к крестьянину, чем его богатый сосед. Жизнь была проще, нравы – чище; чаще встречались непосредственные, честные и прямодушные люди, закаленные суровым опытом жизни. А если наблюдался здесь разврат, то и он имел свой особенный характер: французские кокотки заменялись доморощенными Маланьями и Парашами, на которых порою одинокие холостяки или вдовцы женились; шампанскому же предпочитали отечественную сивуху, вследствие чего в мелкопоместной среде при скудости умственных интересов и монотонности жизни бывали часты случаи мрачного запоя.

Чухломской уезд Костромской губернии, родина Писемского, был именно одним из тех трущобных захолустий, где нравы мелкопоместного дворянства сохранились в двадцатые годы нынешнего столетия во всей своей неприкосновенности.

“Я происхожу, – сообщает Писемский в оставшейся после него автобиографии, – от старинного дворянского рода. Один из предков моих, некто дьяк Писемский, был посылаем царем Иоанном Грозным в качестве посла в Лондон для осмотра племянницы королевы Елизаветы, на каковой племяннице царь предполагал жениться. Другой предок мой из рода Писемских

пошел в монастырь и удостоился быть причисленным к лику святых, в сонме которых до сих пор именуется Макарием Писемским, а мощи его почиют в Макарьевском, на реке Унже, монастыре. Вот и вся историческая слава моего рода. Позднейшие Писемские, о которых я слыхал, были по большей части люди богатые; но та ближайшая ветвь, от которой, собственно, я происхожу, была совершенно захудалая: дед мой был безграмотен, ходил в лаптях и сам пахал землю. Богатый родственник его, малороссийский помещик, взялся устроить судьбу отца моего, Феофилакта Гавриловича Писемского, которому тогда было четырнадцать лет, устройство судьбы ребенка состояло в том, что отца моего пообмыли, пообшили, выучили грамоте и определили солдатом в войска, пошедшие завоевывать Крым.

Прослужив лет тридцать в действующей армии, отец мой уже в чине майора нашел возможность побывать на родине, т. е. в Костромской губернии, которая отстояла от Кавказа на две тысячи почти верст; но он, тем не менее, большую часть пути совершил в сопровождении четырех денщиков верхом, находя езду в экипаже совершенно для себя неприятной и очень беспокойной. На родине ему пришлось жениться на моей матери из довольно достаточного семейства Шиповых. Отцу моему в это время было лет сорок пять, а матери – тридцать семь. Плодом этого брака, между прочими детьми, был и я, родившийся в 1820 году 10 марта в усадьбе Раменье. Четверо детей, бывших передо мною, померли, а равно померли и бывшие после меня пять человек. Если дозволительно детям произносить суд над родителями, то я могу таким образом определить моего отца и мою мать. Отец мой в полном смысле был военный служака того времени, строгий исполнитель долга, умеренный в своих привычках до пуризма, человек неподкупной честности в смысле денежном и вместе с тем суровый и строгий к подчиненным: наши крепостные люди его трепетали, но только дураки и лентяи, а умных и дельных он даже баловал иногда.

Мать моя была совершенно иных свойств: нервная, мечтательная, тонко умная и при всей недостаточности воспитания прекрасно говорившая и весьма любившая общительность. Собою она, за исключением весьма умных глаз, была нехороша, и по поводу ее наружности покойный отец мой, когда я был уже студентом, имел со мною такого рода беседу:

– Скажи мне, Алексей, отчего это мать твоя чем дальше живет, тем красивее становится?

– Оттого, папенька, что у маменьки много душевной красоты, которая с годами все больше и больше выступает.

Отец согласился со мною”.

Вот что сообщает Писемский в автобиографии о своем детстве:

> “По рассказам, я рос очень болезненно в раннем детстве и ужасно капризничал: то у меня являлась страсть сосать сафьянные башмаки, то требовал грязной воды, в которой меня мыли, то требовал куска, который отец проглотил; был даже, говорят, лунатик, так что меня лавливали входящим на чердак. Все эти проделки мои не помешали мне, однако, сделаться каким-то божком для отца и матери да сверх того еще для двух теток, барышень Шиповых, не вышедших замуж, которые, непременно предполагая сделать меня своим наследником, пылали ко мне какою-то материнской любовью, так что между соседним дворянством говорили, что у меня не одна мать, а три.
>
> Сначала детство мое, до десяти лет, я провел в маленьком уездном городке (Ветлуге), куда отец мой определен был от комитета о раненых городничим. Воспоминания о житье в этом городке у меня остались какие-то планетные: помню я наш дом, довольно большой, с мезонином, где обитал я; помню пол, очень негладкий, играя на котором, я занаживал себе руки; помню высокую белую церковь, а в ней рыжего протопопа Колосова; помню кадку из-под стрехи, в которой нянька меня купала; а больше всего помню ясные, светлые дни и большую реку, к которой меня нянька никогда близко не подпускала. Затем я уже жил в настоящей деревне, куда переселились мои родители. Особенно резок и шаловлив, по словам всех, я не был, но всегда любил устраивать игры в попы (т. е. представлять, как попы служат), в лошади, пахал грядки, сидел на лабазе, подстерегая медведя. Словом, описание моего детства находится в “Людях сороковых годов”, в главе второй”.

Обращаясь, по указанию Писемского, ко второй главе его вышеназванного романа, мы действительно находим ряд весьма живых сцен из детства героя романа Паши. Описывается, как Паша со своим товарищем, дворовым мальчиком Титкой, и собакой Куцкой бегали за зайцем, как медведь утащил у отца лучшую корову, а егерь Яков Сафоныч подстерег и убил медведя, к несказанному удовольствию мальчика, которого едва отец мог удержать от участия в охоте егеря. Подросши, мальчик выучился

верховой езде и до страсти полюбил ее.

“Главное удовольствие при этом, – читаем мы в романе, – доставляли ему опасность и могущество власти над лошадью. Он один-одинехонек уезжал верст за семь через довольно большой лес; кругом тишина, ни души человеческой, и только что-то поскрипывает и потрескивает по сторонам. Лошадь идет, навострив уши, вздрагивая и как бы прислушиваясь к чему-то. Но вот огромная глинистая гора; Павел слегка только сдерживает поводья. Лошадь осторожней-шим образом сходит с горы, немного приседая назад и скользя копытами по глине; Павел убежден, что это он ее так выездил. За горой надобно проехать через довольно крутой мост; на середине его большая дыра. Павел нарочно погоняет лошадь и направляет ее на эту дыру; но она ее перескакивает. Следующую речку Павел решился переехать вброд. Речонка тоже пенится и шумит; лошадь немножко заартачилась; Павел смело нукает ее; лошадь осторожно входит в воду. На середине реки ей захотелось напиться, и для этого она вдруг опустила голову; но Павел дернул поводьями и даже выругался: “Ну, чорт, запалишься!” В такого рода приключениях он доезжает до села, объезжает там кругом церковной ограды, кланяется с сидящею у окна матушкой-попадьей и, видимо гарцуя перед нею, проскакивает село и возвращается домой”.

Выпросивши у отца ружье, мальчик почти каждый день начал в сопровождении Титки и Куцки ходить на охоту:

> “Охотником искусным он не сделался; но зато привык рано вставать и смело ходить по лесам. Каких он не видал высоких деревьев, каких перед ним не открывалось разнообразных и красивых лощин! Утомившись, он очень любил лечь где-нибудь на траве вверх лицом и смотреть на небо. И вдруг ему начинало представляться, что оно у него как бы внизу, самые деревья как будто бы растут вниз и вершины их словно купаются в воздухе, – а он лежит на земле потому только, что к ней чем-то прикреплен; но уничтожься эта связь, и он упадет туда, вниз, в небо. Павлу делалось при этом и страшно, и весело…”

Таким образом, детство Писемский провел среди бодрящих и закаляющих телесно и душевно впечатлений деревенской жизни. Он получил в эти годы то скудное образование на медные деньги, какое в то время было свойственно среде мелкопоместного дворянства. Вот что говорит он в романе “Люди сороковых годов” о воспитании героя Паши:

> “По случаю безвыездной деревенской жизни отца, наставниками его пока были: приходский дьякон, который версты за три бегал каждый день поучать его часа два; потом был взят к нему расстрига-поп, но оказался уж очень сильным пьяницей; наконец учил его старичок, переезжавший несколько десятков лет от одного помещика к другому и переучивший по крайней мере поколения четыре. Как ни плохи были такого рода наставники, но все-таки учили его делу: читать, писать, арифметике, грамматике, латинскому языку. У него никогда не было никакой гувернантки, изобретающей приличные для его возраста causeries[1] с ним; ему никогда и никто не читал детских книжек, а он прямо схватился за кой-какие романы и путешествия, которые нашел на полке у отца в кабинете; словом, ничто как бы не лелеяло и не поддерживало в нем детского возраста, а скорей игра и учение все задавали ему задачи больше его лет”.

Почти то же говорит он о своем воспитании в доме отца и в своей биографии.

> “Учиться меня особенно не нудили, да я и сам не очень любил учиться; но зато читать и читать, особенно романы, любил до страсти: до четырнадцатилетнего возраста я уже прочел, в переводе разумеется, большую часть романов Вальтер Скотта, “Дон Кихота”, “Фоблаза”, “Жильблаза”, “Хромого Беса”, “Серапионовых братьев” Гофмана, персидский роман “Хаджи-Баба”; детских же книг я всегда терпеть не мог и, сколько припоминаю теперь, всегда их находил очень глупыми.
>
> Наставники у меня были очень плохи и все русские. В детстве я, кроме латинского языка, никакому новому языку не учился, что мне впоследствии приносило и даже до сих пор приносит большой вред. Тщетно я в гимназии и в университете старался познакомиться с французским и немецким языками, которым, впрочем, в некоторой степени и выучивался, но только не надолго: не проходило и полугода, как я забывал язык. Вообще, кажется, у меня очень слаба способность к языкам, к истории и к естественным наукам; тогда как к наукам философским, т. е. к математике, к метафизике, к логике, эстетике, этике, я весьма склонен”.

> “В 1834 году, т. е. когда мне было четырнадцать лет,

меня отдали в Костромскую гимназию, во второй класс. Учиться там я начал понятливо и довольно прилежно, но гораздо большую стяжал себе славу на актерском поприще".

Обращаясь затем к роману "Люди сороковых годов", в котором автор описал все свое детство, мы видим, что отец Писемского сам свез сына в Кострому, где и поместил его на частную квартиру в большом каменном запущенном помещичьем доме, в довольно глухом переулке. На пожелтелой крыше его во многих местах росла трава; штукатурка и разные украшения наружных стен обвалились. В верхнем этаже некоторые окна были с выбитыми стеклами, а в других стекла были заплесневелые, с радужным отливом; в нижнем этаже их закрывали тяжелые ставни. К главному подъезду вели железные ворота, на которых виднелся расколовшийся пополам герб фамилии владельцев. Его держали два льва, один – без головы, а другой – без всей задней части. Вместе с мальчиком в качестве тутора и репетитора был помещен старший его летами гимназист Стайновский, а прислуживать им оставили дворового парня лет четырнадцати.

Расставание отца с сыном было самое трогательное. Мальчик бросился к отцу на шею, зарыдал на всю комнату и произнес со стоном: "Папенька, друг мой, не покидай меня навеки!" Старик застонал, зарыдал тоже. "Нет, не покину, не покину!.." – бормотал он; потом, едва вырвавшись из объятий сына, сел в экипаж: у него голова даже не держалась хорошенько на плечах, а как будто болталась. "Папаша, папаша, милый!" – стонал мальчик. Старик махнул рукой и велел себя везти скорее; экипаж уехал. Мальчик, как бы все уже похоронив на свете, с понуренной головой и весь в слезах отправился в комнаты… По крайней мере с месяц после разлуки с отцом он тосковал о нем.

Но вот начались уроки, и потекла день за днем монотонная гимназическая жизнь, однообразие которой нарушилось приездом в город бродячей труппы.

Актеры были крайне плохие. Устроенный в помещении кожевенного завода театр находился где-то под землей, и сохранялся еще запах дубильных веществ, которым пропитаны были его стены. Зрителям, чтобы попасть в партер, надобно было спуститься вниз по крайней мере сажени на две. Тем не менее, когда Стайновский предложил своему воспитаннику отправиться вместе в театр на представление "Днепровской русалки", мальчик был на седьмом небе. Его по преимуществу волновали названия: "сцена", "ложи", "партер", "занавес", но что, собственно, это значило и как все это соединить и расположить, он никак не мог

придумать в своем воображении. Заиграла музыка.

Писемский в жизни своей, кроме одной скрипки и плохих фортепьяно, не слыхал никаких инструментов; но теперь, при звуках довольно большого оркестра, у него как бы вся кровь прилила к сердцу; ему хотелось в одно и то же время подпрыгивать и плакать. Занавес поднялся. С какой жадностью взор нашего юноши ушел в таинственную глубь какой-то очень красивой рощи, позади которой виднелся занавес с Бог знает куда уводящей далью; а перед ним что-то серое шевелилось на полу – это была река Днепр!

И как ни плохи были лицедеи, как ни убога была вся обстановка провинциального театра, юноша был как бы в тумане: весь этот театр со всей обстановкой и все испытанные там удовольствия показались ему какими-то необыкновенными, не воздушными, не на земле (а – как было на самом деле – под землею) существующими – каким-то пиром гномов, одуряющим, не дающим свободно дышать, но тем не менее очаровательным и обольстительным. Результатом того сильного впечатления, которое произвело на юношей это зрелище, было то, что на святках они задумали устроить у себя дома свой театр. Инициатива принадлежала Стайновскому как старшему возрастом. Он хорошо умел рисовать, и это помогло ему сделать декорации и занавес. Сцену и зрительный зал решили устроить в большой зале, бывшей в опустевшем доме, где они обитали; употребили в дело и найденную там старинную мебель. Не меньшую изобретательность проявил Стайновский и в изготовлении костюмов из немногих имевшихся в наличии материалов: гимназических вещей, мундирчиков, конских волос, бычачьих пузырей и т. п. Для представления были избраны “Казак-стихотворец” и “Воздушные замки”. Роль Маруси уговорили играть очень хорошенького гимназистика, который был в гимназических певчих и имел превосходный тоненький голосок. Один из актеров, подвизавшийся на городском театре, был приглашен выучить юношей петь надлежащие куплеты. Писемский взял себе роль Прудиуса в “Казаке-стихотворце”. В назначенный день собралось столько публики, сколько мог вместить импровизированный театр; публика состояла из гимназических учителей и гимназистов с их родственниками. Спектакль прошел блистательно, причем Писемский заткнул за пояс своего товарища-тутора Стайновского, отличившись правдивостью и тактом в исполнении своей роли.

Этот успех Писемского имел такие последствия: во-первых, самолюбие Стайновского было так уязвлено неудачей на театре, что он был почти не в состоянии видеть Писемского и уехал от

него, оставив мальчика одного с его дворовым парнем; и, во-вторых, Писемский начал воображать себя будущим великим актером и, оставшись жить один, нередко перед своим казачком и сторожем дома, старым инвалидом, декламировал, надев халат и подпоясавшись кушаком, из “Дмитрия Донского”:

Российские князья, бояре, воеводы,
Прешедшие чрез Дон отыскивать свободы.

Или восклицал, цитируя Корнеля в переводе Катенина и обращаясь к инвалиду: “Иди ко мне, столб царства моего!”

Вообще детские игры он совершенно покинул и повел “эстетический образ жизни” в подражание своему дяде со стороны матери, Всеволоду Никитичу Бартеневу. Этот Бартенев, изображенный Писемским в романе “Люди сороковых годов” в лице Эспера Ивановича, бывший флотский офицер, представлял собою весьма оригинальный тип своего времени; это был байбак, Обломов, не сходивший со своего дивана, и в то же время просвещенный любитель и знаток литературы и всех искусств, энциклопедически образованный и горячий проповедник просвещения. Он оказывал большое влияние на племянника во время гимназических лет Писемского, снабжая его романами, журналами, путешествиями. Юноша с каждым годом все более и более погружался в чтение; часто ходил в театр; наконец задумал учиться музыке. В доме, где он продолжал обитать, оказалось фортепьяно; он перенес его в свою комнату, поправил и настроил на свои скудные средства. В учителя он себе выбрал, по случаю крайней дешевизны, того самого актера, который дирижировал пением в гимназическом спектакле. Он, впрочем, мог растолковать Писемскому одни ноты; а затем Писемский уже сам стал разучивать, как Бог на разум послал, небольшие пьески и к концу года играл довольно бойко, так что нашелся даже обожатель его музыки, один из товарищей, который прослушивал его иногда по целым вечерам и совершенно искренно уверял, что такой игры на фортепиано, с подобной экспрессией, он не слыхивал.

Обильное чтение не замедлило оказать свое влияние на восприимчивую натуру юноши, пробудив в нем творческие силы. В этом отношении мы встречаем в романе “Люди сороковых годов” характерный эпизод, который, подобно многим другим фактам детства и юности героя романа, в свою очередь мог быть взят всецело из жизни самого автора. Так, Писемский рассказывает, как герой его, Павел Вихров, сблизился с учителем математики, хохлом; вместе они ходили на охоту, и учитель этот

свободомысленными речами возбудил в юноше критическое отношение к гимназическому начальству. “Все эти толкования, – читаем мы в романе, – сильно запали в молодую душу моего героя, и одно только врожденное чувство приличия останавливало его, что он не делал с начальством сцен и ограничивался в отношении его глухой и затаенной ненавистью”. Но недолго продолжалась эта сдержанность. Инспектор гимназии, и он же учитель словесности, являлся креатурой директора, так как последний возвел его в инспекторский сан вследствие того, что тот сошелся с его дочерью и должен был жениться на ней.

“Перед экзаменами, – читаем мы в романе, – инспектор-учитель задал им сочинение на тему “Великий человек”. По словесности Вихров тоже был первый, потому что прекрасно знал риторику и логику и кроме того сочинял прекрасно. Счастливая мысль мелькнула в его голове; давно уже желая высказать то, что наболело у него на сердце, он подошел к учителю и спросил его: можно ли, вместо заданной им темы, написать на тему *“Случайный человек”*. “Напишите!” – отвечал тот, вовсе не поняв его намерения. Павел пришел и в одну ночь накатал сочинение. О, каким огнем негодования горел он при этом! Он писал: “Народы образованные более всего ценят в гражданах своих достоинства. Все великие люди Греции были велики и по душевным своим свойствам, у народов же необразованных гораздо более успевают лесть и низость; вот откуда происходит *случайный человек!* Он может не иметь никаких личных достоинств и на высшую степень общественных почестей возводится только слепым случаем! Торговец блинами становится корыстолюбивым государственным мужем, лакей – графом, певчий – знатной особой”.

Сочинение это произвело, как и надо ожидать, страшное действие… Инспектор-учитель показал его директору; тот – жене; жена велела выгнать Павла из гимназии. Директор, очень добрый, в сущности, человек, поручил это исполнить зятю. Тот, собрав совет учителей и бледный, с дрожащими руками, прочел ареопагу злокачественное сочинение; учителя, которые были помоложе, потупили головы, а отец Никита произнес, хохоча, себе под нос:

– Сатирик! Как же, ведь все они у нас сатирики!

– Я полагаю, господа, выгнать его надо? – обратился инспектор-учитель к совету.

– Это очень уж жестоко, – послышалось легкое бормотанье между учителями помоложе.

Зачем же ему учиться, ведь уж он сочинитель!.. – подхватил, опять смеясь, отец Никита”.

Насилу сумел отстоять своего друга все тот же учитель

математики, который был виновником подобного настроения юноши.

Очень вероятно, что нечто подобное случилось в гимназии и с самим Писемским. В автобиографии же своей он о начале развития своего писательского дарования говорит кратко: “В пятом классе я был признан учителем словесности прекрасным талантом, в шестом классе я уже написал повесть, назвав ее “Черкешенкой”, а в седьмом сочинил еще большую повесть “Чугунное кольцо”, которые, вероятно, отличались более стилем, так как я в них описывал такие сферы, которые совершенно были для меня неведомы”.

В романе “Люди сороковых годов” писание последней повести находится в связи с первой романтической любовью героя к кузине Мери, конечно, значительно старшей его по возрасту и относившейся к нему как к мальчику.

“Вскоре после того, – читаем мы, – Павел сделался болен, и ему не велено выходить из дому. Скука им овладела до неистовства – и главное оттого, что он не мог видеться с Мери. Оставаясь почти целые дни один-одинешенек, он передумал и перемечтал обо всем; наконец, чтобы чем-нибудь себя занять, вздумал сочинять повесть и для этого сшил себе толстую тетрадь и прямо на ней написал заглавие своему произведению: “Чугунное кольцо”. Героем своей повести он вывел казака, по фамилии *Ятвас.* В фамилии этой Павел хотел намекнуть на молодцеватую наружность казака, которою он как бы говорил: *“Я вас!”,* и, чтобы замаскировать это, вставил букву *т.* Ятвас этот влюбился в губернском городе в одну даму и ее влюбил в самого себя. В конце повести у них произошло рандеву в беседке на губернском бульваре. Дама призналась Ятвасу в любви и хотела подарить ему на память чугунное кольцо; но по этому кольцу Ятвас узнает, что это была родная сестра его, с которой он расстался еще в детстве; обоюдный ужас – и после этого казак уезжает на Кавказ, и там его убивают, а дама постригается в монахини”.

Не ограничиваясь чтением этой повести своей кузине, Писемский посылал ее в редакции столичной прессы, но повесть принята не была.

В 1840 году Писемский кончил гимназический курс и вознамерился ехать в Московский университет, выдержавши при этом, если судить по роману “Люди сороковых годов”, немалую борьбу с отцом, который требовал, чтобы сын поступил в Демидовский лицей на том основании, что там он учился бы и содержался на казенный счет, в закрытом пансионе, под присмотром начальства и был бы несравненно ближе к

родительской усадьбе, так что за ним ничего не стоило бы на каникулах прислать лошадей. Но сын настоял на своем и поступил-таки в Московский университет на математический факультет.

В своей автобиографии Писемский называет выбор факультета как нельзя более удачным, хотя и не находит, чтобы университетское образование дало ему очень много. “Будучи, – говорит он, – большим фразером, я в этом случае благодарю Бога, что избрал математический факультет, который сразу же отрезвил меня и стал приучать говорить только то, что сам ясно понимал. Но этим, кажется, только и кончилось благодетельное влияние университета. Научных сведений из моего собственного факультета я приобрел немного”.

Правда, нельзя сказать, чтобы и вообще математические факультеты благотворно влияли на людей, одаренных художественным талантом. Тем более трудно ожидать, что такое благотворное влияние мог оказать математический факультет одного из русских университетов сороковых годов. Но все-таки было бы ошибочно утверждать, что университетские годы прошли для Писемского совсем бесплодно. Недаром Писемский в романе “Люди сороковых годов” говорит о своем герое: “Естественные науки открыли перед ним целый мир новых сведений: он *уразумел и трав прозябанъе,* и с ним *заговорила морская волна.* Он узнал жизнь земного шара – каким образом он образовался, как на нем произошли реки, озера, моря; узнал, чем люди дышат, почему они на севере питаются рыбой, а на юге – рисом. Словом, вся эта природа, интересовавшая его прежде только каким-нибудь очень уж красивым местоположением, очень хорошей или чрезвычайно дурной погодой, каким-нибудь никогда не виданным животным, – стала теперь понятна ему в своих причинах, явилась машиной, в которой было все теснейшим образом связано одно с другим. Из изящных собственно предметов он в это время изучал Шекспира и еще Шиллера, за которого он принялся, чтобы выучиться немецкому языку, столь необходимому для естественных наук, и который сразу увлек его как поэт человечности, цивилизации и всех юношеских порывов”.

О том же свидетельствует Писемский и в своей автобиографии, говоря, что хотя учеба на факультете дала ему не много научных сведений, но зато он познакомился с Шекспиром, Шиллером, Гёте, Корнелем, Расином, Жан-Жаком Руссо, Вольтером, Виктором Гюго, Жорж Санд и сознательно оценил русскую литературу.

Надо принять в соображение также и то обстоятельство, что Писемский, подобно многим своим товарищам, не ограничивался

одной математикой, а слушал лекции профессоров других факультетов. Так, в романе “Люди сороковых годов” он сообщает эпизод, очевидно, вполне автобиографический:

“Профессор словесности, – читаем мы в романе, – задал студентам темы для сочинений. Вихров ужасно этому обрадовался и выбрал одну из них, а именно *“Поссевин в России”,* и сейчас же принялся писать на нее. Еще и прежде того, как мы знаем, искусившись в писании повестей и прочитав потом целые сотни исторических романов, он изобразил пребывание Поссевина в России в форме рассказа: описал тут и царя Иоанна, и иезуитов с их одеждою, обычаями, и придумал даже полячку, привезенную ими с собой. Целые две недели Вихров занимался этим трудом и наконец подал его профессору, вовсе не ожидая от того никаких особых последствий, а так только потешил в этом случае натуру свою. Невдолге после того профессор стал давать отчет о прочитанных им сочинениях. Он их обыкновенно увозил из университета на ломовом извозчике – и на ломовом же извозчике и привозил. Взойдя на кафедру, он был как бы некоторое время в недоумении.

– Милостивые государи, – начал он своим звучным голосом, – я, к удивлению своему, должен отдать на нынешний раз предпочтение сочинению не студента словесного факультета, а математики… Я говорю про сочинение г-на Вихрова *“Поссевин в России”*.

У Павла руки и ноги задрожали и в глазах помутилось.

– Г-н Вихров! – вызвал уже его профессор.

Павел встал. Профессор, как бы с большим вниманием, несколько времени смотрел на него.

– В вашем сочинении, не говоря уже о знании фактов, видна необыкновенная ловкость в приемах рассказа; вы как будто очень опытны и давно упражнялись в этом.

– Я давно уж пишу! – отвечал Вихров с дрожащими губами.

– Упражняетесь в этом!.. Прекрасно, прекрасно!.. У вас положительное дарование!

И профессор мотнул Вихрову головой в знак того, чтобы тот садился.

Павел опустился – от волнения он едва стоял на ногах; но потом, когда лекция кончилась и профессор стал сходить по лестнице, Павел нагнал его:

– У меня целая повесть написана, – сказал он, – позвольте вам представить ее!

– Представьте, – сказал профессор, уже с удивлением взглянув на него.

Вихров на следующую же лекцию принес ему свою повесть

“Чугунное кольцо”. Профессор взял у него тетрадку. Целую неделю Вихров горел, как на угольях. Профессора он видел в университете; но тот ни слова не говорил с ним о его произведении. Наконец после одной лекции он проговорил:

– Г-н Вихров здесь?

– Здесь! – отвечал Павел, опять с дрожащими губами.

– Прошу вас сегодня зайти ко мне вечерком: я имею с вами поговорить.

Вихров рад был двадцать-тридцать раз к нему сходить. “Что-то он скажет мне и в каких выражениях станет хвалить меня?” – думал он все остальное время до вечера: в похвале от профессора он почти уже не сомневался. Часу в седьмом вечера он почти бегом бежал со своей квартиры к дому профессора и робкою рукою позвонил в колокольчик. Человек отпер ему и впустил его; Павел сказал ему свою фамилию. Человек повел его сначала через залу, гостиную. Вихров с искреннейшим благоговением вдыхал в себя этот ученый воздух; в кабинете, слабо освещенном свечами с абажуром, он увидел самого профессора; все стены кабинета уставлены были книгами, стол завален кипами бумаг.

– Здравствуйте, садитесь! – сказал он ему ласково. Вихров сел.

– Я позвал вас, – продолжал профессор, – сказать вам, чтобы вы бросили это дело, за которое очень рано взялись!

И он сделал при этом значительную мину. Вихров покраснел.

– Почему же? – спросил он.

– Потому что вы описываете жизнь, которой еще не знаете; вы можете написать теперь сочинение из книг, наконец, описать ваши собственные ощущения – но никак не роман или повесть! На меня, признаюсь, ваше произведение сделало очень, очень неприятное впечатление; в нем выразилась или весьма дурно направленная фантазия, если вы все выдумали, что писали… А если же нет, то это, с другой стороны, дурно рекомендует вашу нравственность!

И профессор опять при этом значительно мотнул Вихрову головой и подал ему его повесть назад. Павел только из приличия просидел у него еще с полчаса, и профессор все ему толковал о тех образцах, которые он должен читать, если желает сделаться литератором, о строгой и умеренной жизни, которую он должен вести, чтобы быть истинным жрецом искусства, и заключил тем, что “орудие, то есть талант, у вас есть для авторства, но содержания еще никакого!” Герой мой вышел от профессора сильно опешенный. “В самом деле мне, может быть, рано еще писать!” – подумал он сам с собой и решился пока учиться и учиться!..”

В это время студенты увлекались Белинским; под влиянием же любимого критика вели ожесточенные и бесконечные философские споры и зачитывались Гоголем. Из того же автобиографического романа мы видим, что все это проделывал и Вихров, а значит – так или иначе – и Писемский. Об увлечении же Писемского Гоголем мы можем судить по воспоминаниям Алмазова, вот что сообщившего, между прочим, в своей речи на юбилее Писемского:

> “Какие же влияния способствовали развитию такого в высшей степени самородного таланта, как талант Писемского? Литературными образцами для нашего юбиляра были творения двух наших великих писателей-художников, Пушкина и Гоголя; на эстетические его теории имели большое влияние критические статьи Белинского, и вообще умственное его развитие совершалось под воздействием профессоров Московского университета начала сороковых годов. Что касается до влияния, происходящего от личного сношения с людьми, то мы знаем только одного литератора, который имел некоторое влияние на Писемского, – и этот литератор, как ни покажется это странным на первый раз, был никто другой, как Павел Александрович Катенин. Как, подумают многие, тот Катенин, который, по словам Пушкина, *“воскресил Корнеля гений величавый”?* Катенин, крайний сторонник и самый отчаянный поклонник французского псевдоклассицизма, переводчик Корнеля, имел влияние на такого писателя-реалиста, как Писемский? Как это ни странно, а это правда. Познакомился Писемский с Катениным случайно: Катенин жил в трех верстах от родового имения Писемских (в Костромской губернии), где родился, получил первоначальное воспитание и проводил потом время гимназических и университетских вакаций будущий автор романа *“Тысяча душ”,* трагедии *“Горькая судьбина”* и комедий *“Ваал”, “Ипохондрик”, “Подкопы”*. Ветеран литературы, Катенин, фанатически верный своим идолам, Корнелю и Расину, и корану псевдоклассической поэзии, “L’art Poétique” Буало, подружился с молодым студентом, жарким поклонником Гоголя и статей Белинского, – Белинского, у которого, по духу тогдашних эстетических теорий, имена Корнеля и Расина чуть-чуть не были бранными словами. Как же проводили время, сходясь между собою, эти два

совершенно противоположные по литературным убеждениям человека? Катенин декламировал перед Писемским произведения французских лжеклассиков; Писемский читал Катенину произведения Гоголя. Разумеется, после чтения у них были горячие споры. “Ваш Гоголь – дрянь, гадость!” – кричал в каком-то ожесточении Катенин. Писемский, возражая Катенину, обзывал, вероятно, тоже не совсем лестными эпитетами Корнеля и Расина. Но когда умолкал спор, Писемский слушал какую-нибудь трагедию какого-нибудь французского классика, а немного погодя Катенин слушал повесть или комедию Гоголя.

В чем же отразилось влияние Катенина на Писемского? Во-первых, в некоторых сценических приемах нашего юбиляра, ибо я никак не могу пройти молчанием сценический талант Писемского. Вам, милостивые государи, которые не раз наслаждались в этой самой зале его необыкновенно искусным чтением, вам, вероятно, будет приятно вспомнить об одном из сценических успехов Писемского, и потому вы мне позволите сделать отступление в моей речи. Поэзия и сцена – не дальняя родня между собою, и, говоря о литературных достоинствах писателя, позволительно сказать и о его достоинствах как актера”.

“В 1844 году наше тогда еще молодое поколение прослышало, что в Долгоруковском переулке, в меблированных комнатах – в тех самых, которые потом описаны с таким юмором в одном из романов нашего автора, – живет какой-то студент Московского университета, второго отделения философского факультета, который читает своим приятелям Гоголя, и читает так, как никто еще до того времени не читывал. Наше поколение горячо и восторженно принимало к сердцу все интересы искусства и потому сильно взволновалось, услышав эту новость, и рвалось послушать, как Писемский читает Гоголя. Но нам, школьникам, было слишком недоступно общество студентов, а студенты *философского* факультета одним своим наименованием наводили на нас священный страх… Вдруг доходит до нас слух, что на одном так называемом благородном театре будет даваться *“Женитьба”* Гоголя и что в ней роль Подколесина будет играть Писемский. С трудом мы пробрались на этот

спектакль. Конечно, не мы были судьями над Писемским, но мы были свидетелями того изумления, с каким избранное московское общество смотрело на игру Писемского. В то время Подколесина играл на Императорском театре великий наш комик Щепкин; но кто ни взглянул на Писемского, всякий сказал, что он лучше истолковал этот характер, чем сам Щепкин. Не стану распространяться о сценических дарованиях Писемского: большая часть из наших посетителей, слышавшая его чтение, уже может вообразить, каков он должен быть на сцене. Скажу только, что Писемский обязан Катенину тем удивительным уменьем владеть собою, тою удивительно отчетливою и сдержанною интонацией голоса, которою мы любуемся в те минуты, когда он читает нам трагические места из своих произведений…”

О высоком мастерстве в декламаторском искусстве свидетельствуют и другие современники Писемского. Так, И.Ф. Горбунов в своих воспоминаниях о Писемском, сообщая между прочим о чтении им своей *“Плотничьей артели”* на вечере у Краевского, говорит, что “это было не чтение, а высокая сценичная игра; каждое лицо выглядело, как живое, со своим тоном, со своим жестом, со своей индивидуальностью. Художественное наслаждение было полное, все были в неописанном восторге”. Слава о превосходном чтении Писемского не замедлила распространиться по Петербургу, и Писемского наперерыв приглашали читать в Петербурге, в Кронштадте и других окрестностях. “Очень часто, – говорит Горбунов, – по вечерам, а иногда и днем мы отправлялись с ним куда-нибудь на чтение. Мы сделались известными чтецами и вошли в моду; нас приглашали в самое высшее общество. “Мы с тобой точно дьячки, – сказал он один раз, – нам бы попросить митрополита, чтобы он разрешил стихарь надеть”.

Об этом же свидетельствует в своих воспоминаниях о Писемском П.В. Анненков:

“Он действительно передавал мастерски собственные сочинения, находя чрезвычайно выразительные интонации для всякого лица, выводимого им на сцену (в драматических его пьесах это выходило особенно эффектно). Так же мастерски рассказывал он множество уморительных анекдотов из его встреч с разными лицами своей молодости. Подобных анекдотов были у него целые короба, и в каждом из них выражался

более или менее законченный комический тип. Многие из таких типов были им обработаны позднее и попали в его сочинения”.

Но Анненков расходится с Алмазовым относительно актерского таланта Писемского. По его словам, репутация великого актера, которая была составлена Писемскому в Москве и которой он очень гордился, не выдержала окончательной пробы:

> “Так, при исполнении им роли городничего в “Ревизоре” Гоголя, данном на публичном спектакле в пользу литературного фонда, который был тогда в большой моде (1860), он оказался слабым и монотонным, изображая эту живую фигуру. Дело в том, что Писемский всегда счастливо находил одну верную ноту в предоставленной ему роли и по ней создавал все лицо исключительно, пренебрегая всеми другими оттенками его. Однажды я был свидетелем, как Писемский, в присутствии покойного Мартынова, вздумал оправдывать эту грубую, упрощенную манеру понимания изображенных лиц и утверждал между прочим, что гениальный создатель “Ревизора”, кажется, писал свою комедию не для сцены, потому что в городничем его беспрестанно встречаются вводные мысли и отступления, сбивающие с толку актера и мешающие ему проводить роль в надлежащем единстве. Великий наш комик, который был также и очень сильным теоретиком своего искусства, горячо возражал на эту мысль, объясняя пространно и чрезвычайно ясно, что все эти a parte,[2] побочные мысли и подробности совершенно необходимы автору и представляют благодарную задачу для истинного актера, помогая ему высказать в полном блеске свое дарование и слиянием всех этих отдельных черт в один полный образ создать характер, способный остаться надолго в преданиях театрального мира. Писемский, кажется, остался при своем мнении”.

ГЛАВА II

Окончание университетского курса и влияние, оказанное на Писемского университетом. – Служебная деятельность и ее влияние на талант Писемского. – Сходство и различие в развитии талантов Писемского и Салтыкова. – Роман "Боярщина". – Повесть "Нина". – Женитьба Писемского и его семейная жизнь

Успех в роли Подколесина совпал в жизни Писемского с окончанием университетского курса, последовавшим в том же 1844 году. Писемский был выпущен со степенью действительного студента. Хотя он и сам свидетельствует, что университет дал ему не много, но мы все-таки утверждаем, что годы учебы не могли пройти в жизни Писемского совершенно бесследно. Странно было бы и требовать, чтобы университет внедрял в голову каждого студента целиком все те науки, которые изучаются на избранном им факультете. Дело университета заключается лишь в том, чтобы возбудить в юноше живой интерес к приобретению знаний и занятию науками, дать ему ключ к этим занятиям. Если затем юноша остается в центре просвещения, близко к очагам науг. и искусств, и если огонь, зажженный в нем университетом, успел сильно разгореться в его душе, он будет самостоятельно поддерживать этот огонь, продолжая учиться, усваивать любимую науку и в конце концов развивать ее. Но смешно и требовать, чтобы огонь продолжал сам собою гореть без перерыва и в случае, если юноша по окончании курса уедет в далекую глушь и там предастся какому-нибудь практическому делу, не имеющему ничего общего с усвоенными в университете знаниями. Естественно, что не поддерживаемый новыми материалами огонь начнет со временем гаснуть, приобретенные знания, не прилагаемые к жизни, будут мало-помалу испаряться. От всего университетского курса останется лишь общая закваска человека с высшим образованием, те идеи честности, гуманности и прогресса, какие каждый мало-мальски талантливый и неиспорченный юноша выносит из университета. Но, конечно, среда и жизнь могут так переработать человека, что и от этих идей не останется впоследствии и следочка. Прилагая эти соображения к Писемскому, мы не считаем большой бедой, что он не вынес из университета целиком всю премудрость математического факультета, курс которого окончил. Для чего пригодилась бы вся эта премудрость, если бы даже он вместил ее в себя в таком количестве, как Лобачевский? Совершенно достаточно, что рядом с положительными, хотя бы и самыми

элементарными, знаниями Писемский вынес из университета кое-какую начитанность, познания в литературах западной и русской, а главным образом, увлечение Белинским, Гоголем и Жорж Санд, что ставило его во всяком случае впереди своего века. Если бы с этим умственным багажом он остался в Москве, примкнул к каким-нибудь литературным или философским кружкам, продолжал бы читать, учиться, развиваться; если бы – еще лучше – поехал за границу, подобно Тургеневу или Грановскому, доучиваться в западных университетах, то, конечно, он и до конца дней своих продолжал бы оставаться в первых рядах своих современников не только по своему художественному таланту, но и как мыслитель. К сожалению, крайний недостаток средств заставил Писемского по окончании университетского курса спешить на родину, на долгие годы заточить себя в провинциальной глуши и тянуть служебную лямку ради прокормления себя и семьи. Нет ничего мудреного, что университетские образование и закваска с каждым годом все больше испарялись под влиянием той невежественной и полудикой провинциальной среды, в которую попал юноша, и когда, в пятидесятых годах, Писемский явился в Петербург, он, как мы увидим, поразил петербуржцев своей провинциальной оригинальностью и, по словам Анненкова, “произвел на всех впечатление какой-то *диковинки* посреди Петербурга, причем все суждения принадлежали ему, природе его практического ума *и не обнаруживали никакого родства с учениями и верованиями, наиболее распространенными между тогдашними образованными людьми”.*

Вот что говорит сам Писемский в своей автобиографии о первых годах своей жизни по окончании университетского курса:

“На моем успехе в 1844 г. в роли Подколесина кончилась моя научная и эстетическая жизнь. Впереди мне предстояли горе и необходимость служить: отец мой уже умер, мать, пораженная его смертью, была разбита параличом и лишилась языка; средства к существованию были весьма небольшие. Все это понимая, я впал, по переезде моем в деревню, в меланхолию и ипохондрию, из какой спасла меня любовь. Еще ранее того, во время моего гимназического и университетского воспитания, я влюблялся идеально в моих кузин, из которых первая описана в лице Софи во “Взбаламученном море”, а вторая – в лице Марии в “Людях сороковых годов”; но вышесказанная любовь была уже реальная и поглотила всего меня. Любовь эта мною выражена, во-первых, в романе моем “Боярщина”, в отношениях Эльчанинова к Анне Павловне, и потом второй раз в “Людях сороковых годов”, в отношениях Вихрова к Фатеевой. Но жизнь и родные не

удовлетворялись этим моим блаженством, как не удовлетворялась им и моя собственная совесть, тем более что написанный мною тогда роман “Боярщина” как протест против брака был прямо прихлопнут цензурой; значит, надежда на авторство могла тогда показаться сумасшествием, и потому я решился, во-первых, посвятить себя службе, а потом жениться, избрав для этого девушку совершенно уже не кокетку, из семьи хорошей, но небогатой. Свадьба наша совершилась 11 октября 1848 года. Жена моя отчасти обрисована мною во “Взбаламученном море” в лице Евпраксии, которой сверх того придано в романе название Ледешка”.

В пояснение этого лаконического конспекта нескольких лет жизни Писемского считаем долгом прежде всего познакомить читателей наших со служебной деятельностью Писемского. Первоначально, тотчас же по окончании университетского курса, Писемский поступил в костромскую палату государственных имуществ, а затем перешел в подобную же палату московскую. В 1846 году он вышел в отставку и два года прожил в провинции, увлекаясь в это время тою жорж-сандовскою свободною любовью, о которой он говорит в своей автобиографии. В 1848 году, после женитьбы и по настоянию родных, он вновь поступает на службу, на этот раз чиновником по особым поручениям к костромскому губернатору, которым являлся в то время известный впоследствии петербургский генерал-губернатор князь Суворов. В 1849 году Писемский был назначен асессором костромского губернского правления и прослужил в этой должности до 1853 года. Вышедши в этом году в отставку и переселившись в Петербург, в 1854 году он был определен в министерство уделов, при котором состоял до 1859 года. С этого года и до 1866-го Писемский нигде не служил, предаваясь исключительно одной литературной деятельности. В 1866 году он опять сделался советником московского губернского правления. Здесь он дослужился до старшего советника и в 1872 году окончательно вышел в отставку в чине надворного советника. Вот что, между прочим, говорит в своей речи на юбилее Писемского Алмазов по поводу его служебной деятельности:

> “Говоря о влияниях, которые отразились на нашем юбиляре, я должен упомянуть об одном обстоятельстве, которое сильно подействовало на развитие его таланта. Большая часть наших писателей, изображающих чиновничий быт и служебную сферу, знают то и другое только с виду или даже просто по слуху. Они или служили в каких-нибудь канцеляриях и знают службу

только по канцелярским формам, или просто только числились по службе и даже мало знакомы с физиономиями своих начальников и еще меньше с физиономиями своих товарищей и подчиненных. Но Писемский отнесся совсем иначе к службе, чем эти господа: он, можно сказать, отдался всею душою служению русскому государству и, служа, только и думал, как бы побороть ту темную силу, с которой борются и наше высшее правительство, и лучшая часть нашего общества. Чтоб показать вам наглядно, какими мыслями и чувствами руководился он в своей служебной деятельности, приведу место из его романа "Тысяча душ". Вот что говорит Писемский о своем герое Калиновиче, назначенном вице-губернатором в одну из тех губерний, где в самом роскошном виде процветали взяточничество, казнокрадство и всевозможные превышения власти:

"Калинович мог действительно быть назван представителем той молодой администрации, которая хотя болезненно, но заметно уже начинает пробиваться то тут, то там сквозь толстую кору подьяческих плутней *Как сознательный юрист молодой вице-губернатор еще на университетских скамейках, по устройству собственного сердца своего, чувствовал всегда большую симпатию к проведению бесстрастной идеи государства, с возможным отпором всех домогательств сословных и частных.* В управлении приняты им были те же основания".

Взгляд на государство и на службу, приписанный здесь герою романа, есть взгляд самого автора; им руководился он постоянно при исполнении своих служебных обязанностей, и мы смело можем сказать, что он много принес пользы на службе, хотя никогда не занимал видных должностей. Я укажу вам на одну замечательную сторону служебной деятельности Писемского – на его деятельность как следователя по уголовным преступлениям. Тут он изучал каждого преступника, как изучает добрый и старательный врач каждого больного; оставаясь буквально и неумолимо верен закону, он относился к допрашиваемому преступнику с таким участием, с такою любовью, что и тот начинал любить его и рассказывал про себя все потому только, "что уж он больно хороший и умный барин".

Я сказал здесь о службе Писемского не для того,

чтобы хвалить его как чиновника; оценка его служебной деятельности не должна войти в мою речь, имеющую целью указать только на литературные заслуги нашего юбиляра. Но эти заслуги близко связаны со служебной его деятельностью. Вы понимаете, какой огромный материал для своих литературных произведений приобрел автор, служа так усердно интересам русского государства, как глубоко узнал он чиновничий люд, как глубоко проник в душу русского человека".

В этом смысле есть нечто общее в характере развития талантов Писемского и Салтыкова. Последний, подобно Писемскому, долгое время был погружен в провинциальную жизнь и, принужденный тянуть служебную лямку, точно так же имел возможность близко познакомиться с провинциальной жизнью как в административных ее сферах, так и во всех прочих, с парадных и закулисных ее сторон, и результат был в некоторых отношениях одинаковый. Глазам обоих писателей провинциальная жизнь представилась во всей своей грубой и дикой некультурности; поражали крайняя мелочность интересов и полное отсутствие как общественных принципов, так и самых элементарных нравственных правил. Примите при этом в соображение, что то была предреформенная эпоха сороковых и пятидесятых годов, когда старый патриархальный и крепостной строй жизни был расшатан до последней степени, когда казалось, что все вокруг разваливается, и повсюду господствовал полный разгул взяточничества, казнокрадства, дикого помещичьего произвола и общего безначалия. За деньги все, что угодно, можно было купить, сделать; можно было скрыть любые концы. Жизнь интеллигентных классов имела характер беспрерывной дикой и разнузданной оргии; не предвиделось и конца общему веселью, а между тем экономический кризис был на носу и помещичьи имения начинали уже одно за другим продавать с аукциона. Понятно, что долгие годы созерцания такого внушительного зрелища привели к одному и тому же результату как для Салтыкова, так и для Писемского. У обоих этих писателей отпала всякая охота не только к малейшей идеализации русской жизни, но и к вполне реальному изображению светлых и положительных сторон ее. У обоих писателей в равной степени вы не найдете и следа каких бы то ни было поэтических образов, которые в таком обилии встречаются у других писателей сороковых годов, например у Тургенева, Гончарова, Григоровича, Л. Толстого, Некрасова, Островского и пр.: ни восхитительных пейзажей, ни очаровательных женщин, ни волшебных свиданий в ночной тиши.

Если встречается в произведениях обоих этих писателей любовь, то или в комическом и пошлом виде, или в низменно-грязном, у обоих провинциальная среда оказывается состоявшей исключительно из безобразных чудовищ и уродов, поражающих вас своей культурной грубостью, отсутствием самых элементарных понятий о совести и чести и разнузданным цинизмом. Но на этом и кончается, конечно, сходство Писемского с Салтыковым, а затем начинается полная противоположность. В продолжение своей петербургской жизни, между лицеем и ссылкой, Салтыков вращался в самых передовых кружках петербургского общества. И в этот период он не только близко познакомился с теми общественными идеалами, которыми в то время жила Европа, но и глубоко запечатлел их в своей восприимчивой и чуткой душе. Идеалы эти сделались святыней его на всю жизнь, и не в состоянии были исторгнуть их из его души ни долгие годы изгнания, ни служебная деятельность среди малокультурных людей. Идеалы эти явились обратной стороной всех обличений Салтыкова. Читая произведения его, вы видите перед собою отнюдь не озлобленного пессимиста, который, рисуя картину жизни безнадежно мрачными красками, предоставляет вам думать, что таков нормальный и общий порядок и что всегда и везде так было, есть и будет; напротив, перед вами горячий идеалист, который смеется над окружающими его безобразиями как над чем-то крайне ненормальным, преходящим и верит в возможность иного, лучшего устройства жизни, разумного и справедливого.

Совсем не то – Писемский. Воспринявши в университете кое-какие новые веяния крайне поверхностно и туманно, он затем сразу окунулся в среду, не имевшую ничего общего с этими веяниями. Вся жизнь этой среды шла совершенно вразрез с ними, а между тем в глазах юноши это была стародавняя жизнь, освященная вековыми традициями, в духе которых он сам был воспитан. И все же сама по себе среда эта не заслуживала никаких положительных красок. Следуя влиянию Гоголя, Писемский стал изображать ее в том безобразном виде, в каком она ему представлялась; но вместе с тем, видя вокруг себя общий отпор тем новым идеалам, которые вынес он из университета, и крайнее несоответствие этих идеалов с окружавшей его жизнью, он проникся скептицизмом по отношению и к самым этим идеалам. Малейшая возможность осуществления их начала ему казаться невообразимым абсурдом, тем более что жалкие попытки такого осуществления в невежественной среде, при всеобщей расшатанности нравов, носили печать невообразимой пошлости и карикатурности. Писемский сам, как мы сейчас видели из его

автобиографической записки, вскоре по окончании университетского курса предпринял одну из таких попыток – попытку свободной любви под влиянием чтения Жорж Санд – и на своем личном опыте смог убедиться в несостоятельности подобных экспериментов. Не только вся окружающая среда в лице его родных, но и его собственная совесть, воспитанная в вековых традициях, восстали против новатора.

Получилось отрицание ради отрицания, и в результате– тот крайний пессимизм без малейшего просвета, который, рисуя ряд вопиющих безобразий жизни, отвратительную пошлость и грязь, заставляет вас думать, что иной, более идеальной жизни не может и быть, так как человек по самой своей натуре – подлец, помышляющий лишь об угождении своей плоти и готовый ради своих своекорыстных расчетов и низменных побуждений поступиться всеми своими самыми заветными святынями.

Но в повести “Боярщина”, которую Писемский писал спустя год по выходе из университета, то есть в 1845 году, как раз в то время, когда переживал он свою жорж-сандовскую любовь, мы видим пока только проблески того крайнего пессимизма, который овладел им впоследствии. По всей вероятности, университетская закваска была еще свежа, и это не позволило ему сразу проникнуться безысходным скептицизмом. По крайней мере, в “Боярщине” заметны еще кое-какие попытки рисовать жизнь не в одних темных тонах, но и в светлых. Так, не лишена привлекательности героиня повести, Анна Павловна. Правда, она, как и все женщины в произведениях Писемского, – существо настолько лишенное малейшей воли и энергии, что беспрекословно позволила выдать себя замуж за грубого Задор-Мановского, терпела все его наглые оскорбления и никогда по своей инициативе не решилась бы бросить мужа, если бы Савелий не схватил ее в охапку и бесчувственную не отвез к Эльчанинову. Но это не мешает ей все-таки производить на читателей светлое впечатление чистотой и духовностью своей страсти, которая оказалась настолько сильной, что молодая женщина не смогла перенести измены Эльчанинова и умерла, потрясенная горем. С другой стороны, еще более привлекает вас Савелий, которого Писемский характеризует таким образом:

> “Молодой человек, которого называли одним только полуименем Савелий, был такой же дворянин, как Эльчанинов, как предводитель, как даже сам граф; но у него было только несколько десятин земли и выстроенный на той земле маленький деревянный флигель. Он с трудом умел читать, нигде не служил, но,

несмотря на бедность, на отсутствие всякого образования, он был в высшей степени честный, добрый и умный малый. Он никогда никому не жаловался на свою участь и никогда не позволял себе, подобно другим бедным дворянам, просить помощи у богатых. Он неусыпно пахал, с помощью одного крепостного мужика, свою землю и таким образом имел кусок хлеба. Кроме того, он очень был искусен в разных ремеслах: собственными руками выстроил себе мельницу, делал телеги, починивал стенные часы и переплетал, наконец, книги".

Несмотря на тяжкое положение Анны Павловны под гнетом мужа, ни ей, ни тем более легкомысленному и бесхарактерному Эльчанинову, более склонному к тайному адюльтеру, чем к открытой и честной любви, не пришло бы и в голову сойтись открыто, если бы это не устроил Савелий, принявший горячее участие в судьбе Анны Павловны, так как втайне любил ее. После же того, как она умерла на его руках, он отправился на службу на Кавказ *пешком.* В лице этого Савелия Писемский, очевидно, воздал долг памяти своему отцу, старому кавказскому служаке, отличавшемуся неподкупной честностью и не признававшему иного способа передвижения, кроме как пешком или верхом на лошади. Но этими двумя личностями и ограничиваются светлые краски в первом произведении Писемского. В общем роман производит самое безотрадное впечатление. Хотя Писемский и утверждает, что посланный в 1847 году в редакцию "Отечественных записок" роман был "прихлопнут" цензурою за протест против брака, но смеем думать, что это не совсем верно. Без сомнения, цензура того времени была смущена не столько протестом против брака, сколько общим мрачным колоритом романа, массой невообразимой грязи, выведенной автором наружу, да к тому же сенсационным заглавием "Боярщина". Правда, под этим словом разумелось название волости, где происходило действие; но при наклонности цензуры того времени читать между строк и отыскивать тайные намерения авторов, скрывающиеся за благовидными и легальными формами, подобному заглавию легко можно было приписать преступное значение; этому могло способствовать и то, что тогда цензура особенно преследовала отрицательное отношение беллетристики к дворянскому классу. Что же касается протеста против брака, то он в значительной степени смягчается и, можно сказать, почти совсем нивелируется тем обстоятельством, что как ни грубо и жестоко было обращение с Анной Павловной мужа, бесчеловечно

черствое отношение к ней Эльчанинова оказалось еще возмутительнее: несчастная женщина не только не была осчастливлена свободной любовью, а, напротив, попала из огня в полымя. И тем более возмущает вас Эльчанинов своим дрянным поступком по отношению к Анне Павловне (он поиграл с нею и затем бросил или, лучше сказать, постыдно, тайком, как вор, бежал от нее, уехав в Петербург на чужие деньги), что – в то время как Задор-Мановский лишен всякого образования, грубо невежествен и вследствие одного этого заслуживает некоторого снисхождения – он получил высшее образование, кончив, хоть и с горем пополам, университетский курс. Он был, таким образом, один из тех передовых светил, которые ниспускались в провинцию из столиц и являлись в те годы своего рода солью земли, героями времени и покорителями женских сердец. И вдруг нигде не учившийся лапотник Савелий оказался в несколько раз и честнее, и благороднее, и гуманнее его. Итак, в конце концов получился протест вовсе не против брака, а против тех шарлатанов высшей образованности, поверхностных дилетантов и фразеров, которые под внешним блеском передовых идей скрывали бесхарактерность, дрянность, сердечную черствость и пустоту.

Не допущенный к печати роман “Боярщина”, как и все в то время запретное, тотчас же распространился в публике в рукописном виде, и таким образом Писемский приобрел некоторую известность прежде еще, чем были опубликованы его произведения.

Следующий затем рассказ “Нина” стал первым произведением Писемского, появившимся в печати. Его можно было прочесть в июльской книжке “Сына отечества” за 1848 год. По словам Алмазова, рассказ этот был напечатан в таком сокращенном и измененном виде, что автор и не перепечатывал его потом; он вошел лишь после смерти Писемского в полное собрание его сочинений (издание Вольфа, 1884 год, т. IV). Тем не менее и в том виде, в каком рассказ этот дошел до нас, он весьма характерен: в нем Писемский еще далее пошел по пути пессимизма, на который вступил в “Боярщине”.

Работая над “Боярщиной”, Писемский верил еще в возможность такой идеальной и в то же время сильной и всепоглощающей женской страсти, разочарование в которой способно свести женщину в могилу. В “Нине” он беспощадно смеется над этой своей юношеской, романтической верой. Он показывает провинциальную девушку, Нину, дочь сына аптекаря, неисправимого старого романтика Вильгельма Федоровича, и прозаически русской помещицы Феклы Петровны. В Нине

рассказчику грезилась загадочная натура не от мира сего, нечто вроде Миньоны.

“Не знаю, почему, – говорит герой романа, – я в этой девушке предполагал многое. Нельзя сказать, чтобы она была красавица; но она была очень мила; высокая не по летам, стройная, с маленькой головкой, но в то же время с прекрасно развитой грудью; в больших темно-голубых глазах ее и в детской улыбке была видна какая-то задумчивость, что придавало ее круглому личику такое выражение, как будто бы она о чем-то постоянно грустила, и мне казалось, что это была тоска Миньоны по небесам. “Не для здешнего мира рождена ты!” – часто думал я, глядя на нее; но иногда мысли мои менялись; я представлял Нину через десять и двадцать лет – и невольно задавал себе вопрос: что будет тогда с нею? Странное дело – этот вопрос всегда решался одинаковым образом: мне казалось, что рано или поздно на это спокойное теперь создание пахнёт суровое горе жизни и что Провидение наложит на нее крест тяжелых испытаний, а я буду утешать ее. Мало этого, мне казалось, что ее страдания проистекут из собственных ее заблуждений, которые постигнут ее потому, что она, как мне казалось, вполне наследовала художественную натуру отца, следовательно – натуру, способную увлекаться и ошибаться; в этой мысли меня еще более убеждало то, что Нина прекрасно пела и играла на фортепиано. Были даже минуты, когда я, в порыве моей мечтательности, думал жениться на Нине и с полным вниманием развить все ее прекрасные наклонности и предохранить ее от неизбежного зла”.

Предчувствие рассказчика начало, по-видимому, сбываться, когда провинциальный лев, блистательный богатый красавец Мазурин, вскруживший одним своим появлением головы всем уездным барышням, поухаживал немного за Ниной, а затем перестал удостаивать ее вниманием, – и Нина, как казалось герою, поверглась в самое безнадежное отчаяние. Отлучившись из города по случаю смерти отца, герой был вполне уверен, что Нина не перенесет своего отчаяния и умрет преждевременной смертью. Каково же было удивление его, когда по возвращении в город он встретил Нину не только живой и здоровой, но похорошевшей, пополневшей, вышедшей замуж за толстого барона и до такой степени усвоившей пошлые нравы уездных барынь, что, когда герой намекнул ей о прошлых ее страданиях, она лишь промолвила с гримасой: “Старые глупости!”

> “Итак, – думал герой, – Нина не умерла, Нина вышла замуж; Нина хозяйничает, бранит слуг, командует мужем, помешана на визитах и сплетнях! А я думал, что

> она не для здешнего мира рождена! Неужели мне целый век суждено ошибаться в людях? Неужели она так изменилась? Нет, всегда она, видно, была такая, но только я придал ей то, что мне хотелось видеть в ней, и Нину живую облек в форму Нины мечтательной. Дай мне Бог так ошибаться весь век и видеть человека лучшим, нежели он в самом деле!..”

Но Бог судил Писемскому как раз обратное: именно – видеть людей худшими, чем они есть на самом деле!..

Время появления в печати первой повести Писемского совпало с женитьбою его. В 1848 году 11 октября, как сообщает он в своей автобиографии, он сочетался браком с дочерью основателя “Отечественных записок”, Екатериной Павловной Свиньиной, двоюродной сестрой известного поэта Аполлона Майкова.

Судя по всем данным, это был брак не по страсти, а по разумному выбору. Во-первых, повесть “Нина” свидетельствует о том, какими холодными глазами глядел уже в то время Писемский на любовь и как успел разочароваться в юных романтических мечтаниях. А во-вторых, он и сам в своей автобиографии говорит, что для женитьбы он *“избрал* девушку совершенно уже не кокетку, из семьи хорошей, но небогатой”, и далее свидетельствует, что жена его выведена им во “Взбаламученном море” в лице Евпраксии, образцовой жены и матери, но женщины холодной, рассудительной, не способной внушать мужчинам пылкие страсти, за что автор и дал ей в романе название *Ледешка.*

Тем не менее выбор Писемского был как нельзя более удачен, потому что жена его, по общему мнению всех знавших ее, была женщина редких достоинств. Так, по словам Анненкова, “эта примерная женщина умела успокоить его болезненную мнительность и освободила его не только от забот по хозяйству и воспитанию детей, но, что важнее, освободила его и от своего вмешательства в его личную, интимную жизнь, тоже исполненную капризов и порывов; она же и переписала на своем веку по крайней мере две трети всех его сочинений с черновых оригиналов, представлявших всегда страшно запачканную макулатуру из кривых строчек, крупных каракуль и чернильных пятен”.

Нечто подобное сообщил биографу Писемского г-ну Венгерову в разговоре и один писатель, хорошо знавший чету Писемских.[3] По словам этого писателя, “вообще Екатерина Павловна представляет собою настоящий тип “литературной

жены”, жившей всеми литературными тревогами и треволнениями мужа, близко принимавшей к сердцу все перипетии его творчества, лелеявшей его талант и что было в ее возможности делавшей для того, чтобы талант этот был поставлен в наиболее выгодные для своего развития условия. Ко всему этому присоединялась бесконечная снисходительность, которой нужно было иметь очень большой запас, чтобы выносить “порывы” покойного Алексея Феофилактовича, не всегда безукоризненно семейного характера…”

Наконец, и Тургенев в одном из писем своих, увещевая Писемского не хандрить, между прочим писал ему:

> “Я уже, кажется, вам сказал раз, но ничего, можно повторить! Не забывайте, *что вы выиграли главный куш в жизненной лотерее* [4]: имеете прекрасную жену и славных детей…”

ГЛАВА III

Приглашение Писемского молодой редакцией "Москвитянина". – Повести "Тюфяк" и "Брак по страсти". – Впечатление, произведенное ими на современников. – Беспринципность и пессимизм творчества Писемского под влиянием провинциальной среды. – Отношение Писемского к передовой интеллигенции, к типам рудинскому и печоринскому. – Эстетические воззрения Писемского и аналогия между его жанром и французским натурализмом

Около этого времени, то есть в конце сороковых и начале пятидесятых годов, произошло, как известно, в Москве разделение славянофилов на две ветви. Между тем как старые славянофилы: Аксаковы, Киреевские, Хомяков, Самарин и пр. – сгруппировались вокруг "Московского сборника", а впоследствии вокруг "Русской беседы", "Москвитянин" Погодина сделался органом новой группы молодых славянофилов, впоследствии получивших название *почвенников.* Кружок состоял из литераторов, успевших уже приобрести большую или меньшую известность, каковыми были Аполлон Григорьев, Алмазов, Эдельсон, Т. Филиппов, А.Н. Островский, А.А. Потехин и пр. Желая привлечь в качестве сотрудников молодые и многообещающие силы, редакция обновленного журнала послала в 1850 году приглашение и Писемскому, так как к этому году "Боярщина" его успела уже получить значительное распространение и Писемский был уже достаточно известен в литературных кружках. Это приглашение ободрило Писемского, который совсем уже было забросил свое перо и весь предался службе; он послал в редакцию давно уже лежавшую в его портфеле повесть "Тюфяк", которая и была напечатана в "Москвитянине" в том же 1850 году, а затем, в 1851 году, появилась в "Москвитянине" же повесть "Брак по страсти".

Обе эти повести имели неимоверный успех и сразу поставили Писемского в один ряд с лучшими писателями его времени. Чтобы читатели могли судить, какое впечатление произвели эти повести на современников, приводим свидетельство об этом Анненкова:

> "Хорошо помню впечатление, произведенное на меня в глуши провинциального города, – который если и занимался политикой и литературой, то единственно сплетнической их историей, – первыми рассказами Писемского "Тюфяк" (1850) и "Брак по страсти" (1851) в

“Москвитянине”. Какой веселостью, каким обилием комических мотивов они отличались, и притом без претензий на какой-либо скороспелый вывод из уморительных типов и характеров, этими рассказами выведенных. Тут била прямо в глаза русская мещанская жизнь, вышедшая на Божий свет, торжествующая и как бы гордящаяся своей открытой дикостью, своим самостоятельным безобразием. Комизм этих картин возникал не из сличения их с каким-либо учением или идеалом, а из того чувства довольства собой, какое обнаруживали все нелепые герои в среде бессмыслиц и невероятной распущенности. Смех, вызываемый рассказами Писемского, не походил на смех, возбуждаемый произведениями Гоголя, хотя, как видно из автобиографии нашего автора, именно от Гоголя и отразился. Смех Писемского ни на что не намекал, кроме забавной пошлости выводимых субъектов, и чувствовать в нем что-либо похожее на “затаенные слезы” – не представлялось никакой возможности. Наоборот, это была веселость, так сказать, чисто физиологического свойства, т. е. самая редкая у новейших писателей, – та, которой отличаются, например, древние комедии римлян, средневековые фарсы и наши простонародные переделки разных площадных шуток.

Некоторые из мыслящих людей эпохи долго даже и не могли примириться *с* этой веселостью; им все казалось, что восторги перед голым комизмом изображений однородны с восторгами толпы на площади, когда ей показывают балаганного Петрушку с горбом на спине и другими физическими уродливостями. Так, весьма требовательный и весьма зоркий критик В.П. Боткин говорил еще несколько позднее, что он не может сочувствовать писателю, который, при несомненном таланте, не обнаруживает никаких принципов и не кладет никакой мысли в основу своих произведений…”

И действительно, в эпоху, когда литература успела уже поднять ряд тревожных вопросов, когда начинался анализ русской действительности с точки зрения новых идеалов, выдвинутых критикой Белинского и статьями Герцена, когда Некрасов начал петь свои горькие песни, Тургенев писал “Записки охотника”, Григорович прославился своим “Антоном-Горемыкой”, а Достоевский – “Бедными людьми”, повести

Писемского не могли не поразить читателей своей беспринципностью, безыдейностью и необузданным разгулом чисто физиологического смеха.

Так, в повести “Тюфяк” тщетно будете вы искать хоть одно лицо, которое примирило бы вас с жизнью и на котором вы могли бы отдохнуть душою, не исключая и героя повести, Павла Васильевича Бешметева (он же “Тюфяк”). Правда, можно предположить, что образ Бешметева – отдаленный намек на то, что переживал тогда сам автор. Я вовсе не хочу этим сказать, что Бешметев хотя бы чуть-чуть напоминает Писемского. Но последний сам именно в это время переживал тяжкую борьбу с провинциальной средой и в герое своей повести выразил весь испытываемый им самим ужас засасывания образованного человека смрадным болотом уездной глуши. Тем не менее Бешметев со своей несчастной судьбою изображен в таком карикатурном виде, что не только нимало не привлекает вас хотя бы одной положительной чертой, но и не возбуждает ни малейшей жалости к себе. Перед вами вовсе не трагический герой, падающий в неравной борьбе, засасываемый болотом, но в то же время делающий неимоверные усилия вырваться из его грязных хлябей. Ничуть не бывало. Вы видите перед собою человека, являющегося продуктом окружающей его среды, ничем не возвышающегося над нею и апатично предоставляющего ей засасывать себя без малейшего сопротивления со своей стороны. Он кончил университетский курс, готовился к магистерскому экзамену; имел, таким образом, все шансы возвышаться целой головой над провинциальной средой. Но наука, снабдив его знаниями, не дала в то же время ни малейшего нравственного закала, а напротив, увела его от жизни, заставила его потерять всякое чутье действительности. Его крайняя застенчивость стала результатом затворнической жизни. Он является в провинциальную среду совершенным младенцем, не умеет ни отстаивать, ни высказывать своих мыслей, не знает, как ему в обществе ходить, сидеть, держать себя. Вместе с тем бесхарактерность его доходит до такой степени, что стоит родным его дружным хором восстать против намерения его продолжать учиться, чтобы он тотчас же растерялся, впал в полное сокрушение и разорвал в отчаянии все свои книги и бумаги.

А затем им начали двигать, как истуканом, и он без малейшего сопротивления делал то, что ему внушали: определился на службу, женился на девушке, в которую, правда, был влюблен, но у него не хватило ни смелости, ни характера самому поухаживать за нею, а когда другие сосватали ему ее, у

него недостало решимости расспросить ее, нравится ли он ей и любит ли его она. Понятно, что такой манекен, к тому же крайне неуклюжий, неловкий, не умевший связать двух-трех слов, не мог ничего внушить жене, кроме отвращения, тем более что она и пошла-то за него лишь ради его состояния, будучи влюблена в то же время в другого. Когда же она начала ему изменять и он узнал об этом – и тут не хватило у него характера разойтись с нею честно. Он начал пить горькую и окончательно потерял человеческий образ. И если до сих пор он представлял собою хоть тень жертвы среды, то теперь ничем не выделялся уже над нею. Если судить по тому, как он обращается с женой в деревне, – перед вами не человек высшего образования, а чистейший азиат. По крайней мере ничего, кроме отвращения, не возбуждают в вас сцены, которые он постоянно начал делать своей постылой супруге:

“Герой мой, – говорит автор, – в своем желчном расположении, в бездействии и скуке, не замечая сам того, начал увеличивать обычную порцию вина, которое он прежде пил в весьма малом количестве. Обед был, как я и прежде замечал, единственное время, в которое супруги виделись. К этому-то именно времени Павел и делался значительно навеселе. В подобном состоянии неприязненное чувство к жене возрастало в нем до ожесточения, и он ее начинал, как говорится, шпиговать.

– Что, Константин, – говорил, например, он, обращаясь к стоявшему лакею, – не хочешь ли, братец, жениться?

– Никак нет-с, Павел Васильевич, – отвечал тот.

– Отчего же, братец? Ничего!.. Будет только на свете лишний дурак.

– Сохрани Бог, Павел Васильевич, – возражал лакей.

– Дал мне Бог ум и другие способности, – рассуждал потом Павел вслух, – родители употребили последние крохи на мое образование, и что же я сделал для себя? Женился и приехал в деревню. Для этого достаточно было есть и спать, чтобы вырасти, а потом есть и спать, чтобы умереть.

– Кто же вас заставлял жениться? – возражала Юлия.

– Собственная глупость и неблагоприятная судьба. Юлия пожимала только плечами.

– Сегодня именины у Портновых, и у них, верно, бал, – сказал однажды Бешметев. В этот день он был даже пьян. – Как вам, Юлия Владимировна, я думаю, хотелось бы туда попасть!

Юлия не отвечала мужу.

– Вы бы там увиделись и помирились с одним человеком; он бы вас довез в своем фаэтоне, а может быть даже вы бы и к нему заехали и время бы провели преприятно.

Юлия не могла этого вынести и залилась слезами.

– Подлый и низкий человек! – в состоянии была только проговорить она и ушла к себе в комнату. Целый день после того она плакала”.

После таких сцен Бешметев, понятно, еще менее возбуждает в вас участия, и трагическая смерть его нимало не трогает вас.

В повести же “Брак по страсти” Писемский идет еще далее в изображении отрицательных сторон современных нравов. Это коллекция исключительно одних только нравственных уродов, агломерат грязи, беззастенчивой лжи, лицемерия, своекорыстия, коварного предательства и взаимного поголовного надувательства. Что касается главного героя, Сергея Петровича Хазарова, отставного поручика, то о красоте его автор отзывается так: “О подобных физиономиях существует два совершенно противоположных мнения. Одни говорят, что это – красавцы, миленькие, даже молодцы, мало этого, Аполлоны Бельведерские; другие же называют их смазливыми рожицами, моськами, расписными купидонами и даже форейторами, смотря по тому, какой у кого эпитет ближе на языке”. При такой своеобразной красоте и нежном, влюбчивом сердце, Хазаров является тем не менее вполне кандидатом в червонные валеты и с каждой страницей становится в глазах ваших гаже и гаже, так что в конце концов вы не можете решить, в чем он подлее – в ухаживании ли своем за Мари Ступицыной, страсть к которой разгорается в нем особенно сильно, когда он узнает, что за девушкой назначено солидное приданое, в страстном ли объяснении в любви Варваре Александровне Мамоновой, с целью сделаться при ней альфонсом и выпутаться из долгов посредством ее денег, или же в бесчеловечном и исполненном черной неблагодарности выпроваживании взашей квартирной хозяйки Замшевой, пришедшей к нему напомнить о старом долге.

Но если хорош Ромео, то и Джульетта, в лице Марии Ступицыной, нимало ему не уступает. Наивный ребенок, только и занимавшийся игрою с котятами, она быстро превращается в женщину, знающую себе цену и не дающую себя в обиду. Это не Анна Павловна, способная умереть от безответной страсти, и когда муж охладевает и изменяет ей, она, в свою очередь, тотчас же пускается в амуры со смазливеньким офицером.

Единственной добродетельной личностью в повести является Варвара Александровна Мамонова, женщина бальзаковского возраста, поклонница Жорж Санд, мечтающая о женской эмансипации; она одна из всех действующих лиц повести способна на бескорыстный порыв, любит покровительствовать молодым людям, пылающим взаимною нежною страстью, и не

жалеет денег, содействуя их соединению. Но в то же время она – непроходимая сентиментальная дура, которую ничего не стоит водить за нос пройдохам и плутам вроде Хазарова. Чтобы сделать ее фигуру еще более карикатурной, Писемский не преминул ввернуть саркастическую черточку, показывающую, как он к началу пятидесятых годов начинал уже относиться к вопросу о женской эмансипации:

> “В последнее время Варвара Александровна сделала еще шаг в прогрессе эмансипации: она стала курить. На первых порах этот подвиг был весьма труден для молодой дамы; у ней обыкновенно с половины выкуренной папиросы начинала кружиться голова до обморока; *но чего не сделает женщина, стремящаяся встать в уровень с веком?* Мамонова приучила свои нервы и в настоящее время могла уже выкуривать по три папиросы вдруг”.

Таким образом, уже вот когда начинает мало-помалу развиваться в Писемском скептицизм относительно всех новых веяний. Скептицизм этот имел отнюдь не какой-либо принципиальный характер, а был прямым следствием того “заедания” средою, какому подвергся Писемский во время своей жизни в провинции. Год от году университетские влияния сглаживались, наружная чешуя спадала, а под этой чешуей обнаруживался мелкопоместный дворянин со всем тем захолустным миросозерцанием, какое свойственно было его землякам одного с ним круга. Он словно возвращался помаленьку под отчий кров.

В самом деле, вы только вдумайтесь в характер пессимизма, окончательно выявившегося в “Тюфяке” и “Браке по страсти”, и сличите его с миросозерцанием нетронутого цивилизацией среднего человека уездной глуши – и вас сразу поразит тождество того и другого. В основе этого миросозерцания – вследствие тяжкого опыта борьбы за существование в среде, чуждой всяких духовных интересов, – лежит убеждение, что человек по существу своему подлец, руководящийся одними практическими расчетами, разными своекорыстными, а подчас и грязными побуждениями, а посему с каждым ближним надо держать ухо востро и иметь камень за пазухой. Отсюда прямо проистекает то поголовное взаимное осуждение друг друга, когда не прощается ближнему ни одна комическая черта или слабость; нет правых, и все в одинаковой степени подозреваются и забрасываются грязью. Но с особенной строгостью обрушивается этот суд на всех тех, которые имеют претензию возвышаться над средой по своему

уму, образованию или нравственным качествам. Это обусловливается, с одной стороны, тем, что на человека, желающего отличаться от всех, естественно возлагается и большая ответственность за поступки; а с другой, – здесь действует и совесть, желающая во что бы то ни стало оправдаться и возвыситься в своем ничтожестве: “А, ты воображаешь, что ты выше нас, а мы нисколько не хуже тебя, а пожалуй, будем и получше!”

Испытывая в продолжение долгих лет постоянное влияние этого уездного миросозерцания, Писемский невольно до известной степени заразился им.

Таким образом и возник этот смех ради одного смеха, поражавший современников своей беспринципностью, безыдейностью, безысходным пессимизмом. Обратите при этом внимание, что уже в первых повестях Писемского, задолго до появления его романа “Взбаламученное море”, люди высшего образования, передовых идей и новых веяний выводятся возмутительными негодяями и пошляками и в этом отношении далеко оставляют за собой самых безобразнейших уродов необразованной среды. До некоторой степени вы миритесь еще с тем фактом, что получивший высшее образование Эльчанинов в нравственном отношении пасует перед нигде не учившимся Савелием, так как у Савелия вы встречаете несколько черт положительных, заслуживающих полного уважения и симпатии. Герой же написанной в 1851 году повести “Богатый жених”, Шамилов, – претендующий на высшее философское образование, вечно возящийся с книгами, которых не в состоянии одолеть, со статьями, которые только начинает, с тщетными надеждами сдать когда-либо кандидатский экзамен, – не выдерживает сравнения даже с полоумным Степушкой, играющим роль шута, над которым все в обществе потешаются; даже и этот Степушка оказался вдруг и постояннее, и честнее в своей любви к Вере Павловне, чем Шамилов, погубивший своей дрянной бесхарактерностью девушку, затем как ни в чем не бывало женившийся по расчету на богатой вдовушке и кончивший жалкой ролью мужа, живущего на содержании и под башмаком злой и капризной бабы.

Осмеявши в Эльчанинове и Шамилове Рудиных, процветавших в то время на почве университетского образования и философского движения, не пощадил Писемский и не вполне сошедший еще со сцены в то время тип гусарско-печоринский. Правда, люди этого типа давно уже не красовались на столь высоком пьедестале, как в тридцатые годы, и не блистали в столичном большом свете; тем не менее продолжали еще

встречаться нередко в провинции, где чуть ли не до конца пятидесятых годов обращались, как старые и истертые монеты. Подобного рода уездные демоны-сердцееды выведены Писемским в “Тюфяке”, в лице Бахтиарова, и в повести “M-r Батманов”, в образе героя, носящего эту самую фамилию, причем, совлекая с них великолепные байроновские плащи, беспощадный автор превращает их в самых заурядных и пошлых провинциальных хлыщей и заставляет кончать не какой-либо трагической смертью, а самым прозаическим браком с богатыми купчихами, – браком ради избавления от голодной смерти. Впрочем, одному только Бахтиарову удается вступить в законное супружество с племянницей тятенькиных миллионов и продолжать донжуанствовать, живя на иждивении своей жены; Батманов же, будучи в большей степени Печориным, чем Бахтиаров, кончает еще печальнее. Он уезжает в Сибирь и делается там просто-напросто альфонсом: под видом управителя делами одной пожилой и очень богатой вдовы-купчихи живет у нее в доме, ходит весь в бриллиантах, носит черкесское платье, ездит по городу на красивых рысаках и поит общество на убой шампанским. “Чем, подумаешь, не разрешалось русское разочарование!” – саркастически воскликнул Писемский в конце своей повести.

Беспринципность творчества Писемского лишь в самом начале его литературной деятельности носила характер наивной непосредственности. Мало-помалу в сознании писателя оформилась особенная эстетическая теория, которую Писемский исповедовал всю свою жизнь, находя в ней оправдание отсутствию в его произведениях идеалов и задач.

Чтобы познакомить читателей с эстетической теорией Писемского, мы прежде всего обратимся к критической статье его, которая была напечатана в “Отечественных записках” в 1855 году в связи с выходом в свет второй части “Мертвых душ” Гоголя.

В первой половине статьи автор дает характеристику русской литературы до Гоголя и в его время и указывает, что существенными недостатками нашей литературы до Гоголя были, во-первых, стремление выйти из себя, написать нечто сверх своих сил и душевного содержания, а во-вторых, – как результат этого – “сочинительство, книжность”. Недостатки эти замечает Писемский даже в наиболее реальных произведениях догоголевского периода, например в комедиях Фонвизина и в “Горе от ума” Грибоедова. А о современных Гоголю популярных писателях – Марлинском, Полевом, Кукольнике, Бенедиктове – и говорить нечего!

“Никто, конечно, не позволит себе сказать, – читаем мы в статье Писемского, – чтобы все эти писатели не владели талантами, и талантами, если хотите, довольно яркими, но замечательно, что все они, при видимом разнообразии, имеют одно общее направление, ушедшее совершенно в иную сторону от истинно поэтического движения, сообщенного было Пушкиным; направление, которое я иначе не могу назвать, как направлением *напряженности, стремлением сказать больше своего понимания – выразить страсть, которая сердцем не пережита,* – словом, создать что-то выше своих творческих сил”.

С Гоголя начинается новая эпоха в нашей литературе, потому что он все это пересоздает: он первый дает типический язык каждому типу. Но, по мнению Писемского, и Гоголь не был вполне свободен от тех же недостатков, присущих нашей литературе. Так, указывая на известные дидактические задачи, которые ставит Гоголь перед своим творчеством в “Авторской исповеди”, Писемский решительно отрицает их.

“На первый взгляд покажется, – говорит он, – что подобную задачу, достойную великого мастера, Гоголь принимает на себя с величайшей добросовестностью и что иначе приступить к ней нельзя, но надобно быть хоть немного знакомым с процессом творчества, чтобы понять, до какой степени этот прием искусствен и как мало в нем доверия к инстинкту художника. Положительно можно сказать, что Шекспир, воспроизводя жизнь в ее многообразной полноте, создавая идеалы добра и порока, никогда ни к одному из своих произведений не приступал с подобным наперед составленным правилом и брал из души только то, что накопилось в ней и требовало излияния в ту или в другую сторону. Поэт узнаёт жизнь, живя в ней сам, втянутый в ее коловорот за самый чувствительный нерв, а не посредством собирания писем и отбирания показаний от различных сведущих людей. Ему не для чего устраивать в душе своей суд присяжных, которые говорили бы ему, виновен он или не виновен, а освещая жизнь данным ему от природы светом таланта, он узнаёт и видит ее яснее всякого трудолюбивого собирателя фактов”.

На этом основании Писемский, будучи в восторге от всех отрицательных типов второй части “Мертвых душ”, в то же время относится крайне неодобрительно к типам Улиньки, Костанжогло и Муратова, считая, что они не взяты непосредственно из жизни, а сочинены, и находя в них “решительное преобладание идеи над формой”. При этом Писемский выражает свое сожаление, что между друзьями Гоголя, которым он читал вторую часть “Мертвых душ”, не нашлось искреннего голоса, который сказал бы ему:

> “Ты писал не грязные побасенки, но вывел и растолковал глубокое значение народного смеха. Ты – великий, по твоей натуре, юморист, но не лирик, и весь твой лиризм поглощается юмором твоим, как поглощается ручеек далеко, бойко и широко несущейся рекою. Ты – не безнравственный писатель, потому что, выводя и осмеивая черную сторону жизни, возбуждаешь в читателе совесть. Неужели по твоей чуткости к пороку, к смешному ты не раскрываешь добра собственной души гораздо нагляднее какого-нибудь поэта, кокетствующего перед публикой поэтическим чувством? Смотри: одновременно с тобой действуют на умы два родственные тебе по таланту писателя – Диккенс и Теккерей. Один успокаивает себя и читателя на сладеньких, в английском духе, героинях, а другой хоть, может быть, и не столь глубокий сердцеведец, но зато он всюду беспристрастно и отрицательно господствует над своими лицами и постоянно верен своему таланту. Скажи, кто из них лучше совершает свое дело?”

Заканчивает же Писемский свою статью следующими многозначительными словами:

> “Наконец, в заключение, могу пожелать всем нашим писателям настоящего времени, призванным проводить животворное начало Гоголя или внести в литературу свое новое, – одного: чтоб, имея в виду ошибки великого мастера, каждый шел по истинному пути, не насилуя себя и оставаясь к себе строгим в эстетическом отношении, говорил, сообразуясь со средствами своего таланта, публике *правду”*.

Нечто подобное высказывал Писемский двадцать лет спустя, в 1877 году, в письме профессору Буслаеву, писанном в ответ на присланную профессором речь о значении романа. Письмо это интересно в том отношении, что заключает в себе некоторые автобиографические данные о развитии эстетических воззрений Писемского. Это заставляет нас привести его целиком.

> “Вы от романа, совершенно справедливо считаемого вами за самого распространенного и прочного представителя современной художественной литературы, требуете дидактики, поучения, так как он *“может популяризировать всю необъятную массу сведений и многовековых опытов”*. Действительно, не

связанный ни трудною формою чисто лирических произведений, ни строгою верностью событиям исторических повествований, ни тесными рамками драмы, роман свободней на ходу своем и может многое захватить и многое раскрыть, но достигает ли он этого на практике, как только автор задал себе подобную задачу? На это безошибочно можно ответить, что нет! Некоторые романисты нашего века – французские, немецкие и английские – пытались явно поучать публику: в романе у Евгения Сю “Семь смертных грехов” показано, как наказываются на земле смертные грехи; у немцев есть, что какой-нибудь юный лавочник высказывает столько возвышенных мыслей и благородных чувствований, что читатель хочет-не хочет, а должен, по-видимому, слушаться сего юноши. У нас Чернышевский, в романе своем “Что делать?”, назначил даже современному человечеству, какую оно должно иметь квартиру и как та должна быть разделена. Но увы! Это глупое человечество не устрашилось нисколько представленными картинами Евгения Сю и продолжает по-прежнему творить смертные грехи; лавочнику никто не верит в искренности его слов, и он все-таки остается лавочником; квартир своих пока никто не делит и не устраивает по плану автора “Что делать?”, и всем сим поучительным произведениям, полагаю, угрожает скорое и вечное забвение. Но не такова судьба бывших старых романистов. Беру на выдержку: Сервантес, вряд ли думавший кого-либо поучать своим “Дон Кихотом”, явил только картину умирающего рыцарства, и она помнится всем читающим миром; Смоллетт, описавший морские нравы, дал нам такие из меди литые фигуры, по которым хорошо поймет каждый, какого закала английская раса; Вальтер Скотт запечатлел на веки вечные в умах человечества старую, поэтическую Шотландию; даже Жорж Санд, по-видимому, самая тенденциозная писательница (во времена моей и нашей молодости, вы, конечно, это помните, она считалась у нас в России растолковательницей и чуть ли даже не покровительницей Евангелия), но в этом случае, мне кажется, на нее совершенно клеветали, – Жорж Санд была не проповедница, а страстная, поэтическая натура. Она описывала только те среды, которые ее женское сердце или заедали, или вдохновляли. У нас ни Пушкин, создавший нам “Евгения Онегина” и “Капитанскую

дочку", ни Лермонтов, нарисовавший "Героя нашего времени" неотразимо крупными чертами, нисколько, кажется, не помышляли о поучении и касательно читателя держали себя так: *"Все это клади в мешок, а дома разберешь, что тебе пригодно и что нет"*. В Гоголе, при всей высоте его комического полета, к сожалению, в конце его деятельности мы видим совершенно противоположное явление: сбитый с толку разными своими советчиками, лишенными эстетического разума и решительно не понимавшими ни характера, ни пределов дарования великого писателя, он еще в "Мертвых душах" пытался поучить русских' людей посредством лирических отступлений и возгласов: "Ах, тройка, птица тройка!" – и в своем поползновении явить образец женщины в особе бессмысленной Улиньки (после Пушкинской Татьяны!), а в конце концов в переписке с друзьями дошел наконец до чертиков. Признаюсь, писем с подобными претензиями и в то же время фразистых и пошлых я не читывал ни у одного самого глупого и бездарного писателя. Но перехожу опять к роману, в отношении которого мое такое убеждение, что он, как всякое художественное произведение, должен быть рожден, а не придуман, что, бывши плодом материального и душевного организма автора, в то же время должен представить концентрированную действительность: будь то внешняя, открытая действительность или потаенная психическая; лично меня все считают реалистом-писателем, и я именно таков, хотя в то же время с самых ранних лет искренно и глубоко сочувствовал писателям и другого пошиба, только желал одного – чтобы было дело в умных руках. Подкреплю это примером. В конце тридцатых годов сильно гремел Кукольник своими патриотическими драмами и повестями из жизни художников с бесконечными толками об искусстве. Все это мне было противно читать, и я инстинктивно чувствовал, что нет тут ни патриотизма, ни драматизма, ни художества, ни художников, а есть только истерические крики! Затем, когда я уже сделался студентом, я прочел "Вильгельма Мейстера". Не могу описать того благоговейного восторга, который овладел мною; из бесед и разговоров действующих лиц я познакомился с целой теорией драматического и сценического искусства. "Гёте, – воскликнул я, – точно

выворачивает все мое нутро!.. Он осветил как бы искрой электрической все, что копошилось и в моих скудных помыслах о драматическом искусстве". Потом другой пример: в половине сороковых годов стали появляться писатели, стремящиеся описывать тонкие ощущения и возвышенные чувствования выводимых ими лиц. Бедняжки, они при этом становились на цыпочки, вытягивали, сколько могли, свои мозговые руки, чтобы дотянуться до своих не очень высоких героев, и вдруг, как бы ради уничтожения сего направления, был переведен на русский язык (в "Современнике" кажется) роман Гёте "Предрасполагающее сродство", где могучий поэт видимо без всякого труда и сверху переставил, как шашки, несколько лиц, исполненных тончайших ощущений и самого возвышенного образа мыслей. Ни дать ни взять, как вол обо… муравьев.

Чувствую, почтеннейший Феодор Иванович, что я написал вам не столько рассуждений и возражений, сколько исповедь своих личных эстетических воззрений. Но что же делать? Так написалось, и в заключение скажу еще два-три слова… Вы мне как-то говорили: "Вы, романисты, должны нас учить, как жить; ни религия, ни философия, ни наука вообще для этого не годится". А мы, романисты, со своей стороны можем сказать: "А вы, гг. критики и историки литературы, должны нас учить, как писать". В сущности, ни то, ни другое не нужно, а желательно, чтобы это шло рука об руку, как это и было при Белинском и продолжалось некоторое время после него. Белинский в этом случае был замечательное явление; он не столько любил свои писания, сколько то, о чем он писал, и – как сам, говорят, выражался про себя – он был *недоносок художник* (он, как известно, написал драму, и, по слухам, неудачную) и потому так высоко ценил доносков-художников".

К этому всему можно прибавить свидетельство г. Авсеенко, что *Писемский считал выше всего эпическое творчество,* а также выраженное Писемским в письме к Тургеневу в апреле 1877 года по поводу романа "Новь" мнение, что *художник прежде всего должен быть объективным и беспристрастным, и вовсе не обязан писать для услады каких-либо партий.*

Итак, отрицание какого бы то ни было сочинительства, требование от художников одной правды и утверждение, что выше всего спокойное и беспристрастное эпическое творчество,

чуждое какой бы то ни было партийности, – такова была сущность эстетических взглядов Писемского. Нечего и говорить о том, что по существу все эти положения, очень почтенные, составляют азбуку реализма. Но только сами по себе они не идут далее азбуки и далеко не исчерпывают всех задач искусства. Начать с того, что, прежде чем вы будете требовать от искусства правды, вы обязаны разъяснить нам, что вы подразумеваете под этой правдой и какой именно правды вы ожидаете от искусства. Правда правде рознь. Бывает правда глубокая, философская, определяющая цену и значение вещей и их взаимные отношения, бывает и правда внешняя, поверхностная, плоская. Бывает правда и односторонняя. Когда какая-нибудь уездная кумушка перебирает все косточки своих ближних, она, конечно, может быть правдива в своих суждениях и приговорах, но разве это та самая высшая, философско-художественная правда, которую мы встречаем в произведениях Гёте?

Затем, когда мы видим, что художник, вроде, например, Гоголя, изображает одни отрицательные явления жизни, мы не отрицаем в произведениях его правду, хотя бы и одностороннюю, если художник не спешит эти отрицательные явления возвести во всеобщий закон жизни и уверить нас, что в жизни ничего нет и быть не может, кроме выводимых им отрицательных явлений. Но если он вздумает нас убеждать, что вся жизнь исчерпывается теми мерзостями, какие он изображает, что под личиною всех чистых побуждений и высоких и чистых помыслов таится та же низменная житейская грязь, то – как бы он ни казался правдив – мы все-таки скажем, что в изображениях его нет правды, так как он клевещет на жизнь, дает ложное понятие о ней, представляя ее исключительно в одних черных красках.

И если мы, обратясь к самим произведениям Писемского, посмотрим, как практически осуществлял он свою теорию и какую давал нам *правду,* то мы должны будем сознаться, что это была правда злая, крайне пессимистического свойства, правда, обливающая вас ушатом холодной воды и вызывающая разочарование в людях; одним словом, такого свойства правда, какую подразумевают, когда желают охладить пыл влюбленного человека и говорят ему: хотите, я расскажу вам о вашей возлюбленной всю *правду*. И одним таким обещанием дают понять, что от этой правды возлюбленной не поздоровится.

Если такого рода прокурорски-обличительную правду сопоставите с требованием спокойного и беспристрастного объективизма, то на вас пахнёт сразу чем-то крайне вам знакомым, такими речами, которые раздавались так еще недавно. Ба, да ведь *правда* Писемского – это тот же беспристрастно-

научный протоколизм Золя, и в произведениях Писемского перед вами воскресает во весь рост пресловутый французский натурализм со всеми его несимпатичными свойствами: то же отрицание какой бы то ни было тенденциозности или идеализма, тот же холодный разъедающий анализ, все явления человеческой жизни рассматривающий как следствия одних и тех же физиологически неизменных побуждений, и тот же пессимизм, не видящий в жизни ничего возвышающегося над этими побуждениями. Писемский, таким образом, лет на двадцать опередил Золя и совершенно самостоятельно разработал на Руси именно ту отрасль реализма, которая является на свет каждый раз, когда художники отказываются от проведения каких бы то ни было идей в своих произведениях и низводят искусство до бесцельного копания в тине житейской грязи. Единственно, чего недоставало Писемскому, чтобы вполне уподобиться французским натуралистам, – их страсти к мелкой детальности и чудовищному нагромождению внешних аксессуаров жизни. Но зато не уступал Писемский, особенно в позднейших своих произведениях, французским натуралистам в откровенном разоблачении альковных тайн.

ГЛАВА IV

Литературная деятельность Писемского с 1850 по 1854 год. – Переселение в Петербург. – Характеристика П.В. Анненковым Писемского как человека. – Мнительность Писемского. – Жизнь Писемского в Петербурге в пятидесятые годы. – Служба в департаменте уделов. – Нужда. – Отношения с издателями. – Командировка в Астрахань. – Переход в "Библиотеку для чтения" и принятие должности редактора этого журнала. – Роман "Тысяча душ"

Ободренный успехом двух первых своих произведений, напечатанных в "Москвитянине", Писемский деятельно принялся за литературный труд и в период с 1850 по 1854 год успел поместить в различных журналах целый ряд повестей, комедий, романов, очерков из народного быта, а именно: "Комик", "Ипохондрик", "Богатый жених", "Питерщик", "M-r Батманов", "Раздор", "Леший", "Фанфарон". По словам Анненкова, Писемский давно уже имел намерение бросить службу, на которой состоял в Костроме, – асессором губернского правления. Успех его рассказов заставил его подумать о более широкой арене деятельности и о переселении в какую-либо из наших столиц. Все симпатии его были на стороне Москвы, где началась его литературная карьера и где он имел много друзей; но практический его ум подсказал ему, что в Москве приобретается почетное имя, но только в Петербурге завоевывается твердое общественное положение. Писемский завязал отношения с одним из редакторов "Современника", И.И. Панаевым, и послал в этот журнал свой роман "Богатый жених" (1851). Представители только что возникшей и уже упрочившей свои позиции *натуральной школы,* при своем отрицательном отношении к русской жизни, тем охотнее приняли Писемского в свои ряды, чем безотраднее был пессимизм его произведений. Никому не приходило в то время и в голову, что пессимизм этот, при своей беспринципности, не щадит ни своих, ни чужих, и в высшей степени курьезный вид имело появление в журнале, стоявшем во главе передовой русской интеллигенции, повести "Богатый жених", в которой эта самая интеллигенция в лице Шамилова смешивалась с грязью и в нравственном отношении выставлялась ниже уездных неучей-митрофанушек вроде дурачка Степушки. Но в то печальное время все литературные партии находились в хаотическом смешении, и каждая редакция охотно помещала на страницах своего издания произведение, блещущее сильным талантом, не вдумываясь глубоко, насколько оно сходится или

расходится с духом и направлением журнала.

Что же касается самого Писемского, то как стремлению его в Петербург, так и появлению на страницах “Современника” много способствовало то обстоятельство, что он относился совершенно индифферентно ко всем боровшимся в то время литературным партиям и при всех своих московских литературных симпатиях так же был далек от славянофильских тенденций, как и от западнических. Вот что говорит по этому поводу Анненков в своих воспоминаниях о Писемском:

> “Несмотря на духовное родство с народом, Писемский не был славянофилом. Он вывез только и сберег в Петербурге гордость своим происхождением, в нравственном смысле, от Москвы и затем чрезмерное хвастовство ею, что было ему обще со всеми москвичами. Москву же он любил совсем не за ее святыни, не за исторические воспоминания, с нею связанные, и громкое, всесветное имя, ею носимое, о чем никогда и не упоминал, а скорее за то, что там не принимали органических проявлений страсти и жизненной энергии за распутство, не обзывали преступлением всякое уклонение от полицейского порядка и что в городе, где по временам скоплялась целая многотысячная армия из одних мужиков и разночинцев со всех концов империи, труднее было следить за чистотой нравов по уставам благочиния. Петербург казался Писемскому созданным на то, чтобы показать, сколько может быть безжизненности в порядке и возмутительных явлений под покровом честности и стройности. Прочитав в записках Берхгольца о пирах в несколько суток без отдыха, даваемых основателем столицы, о курантах, заведенных им на башнях и в известные часы дня игравших на весь город свои мелодии, Писемский заметил: “Петру I это было совершенно необходимо для того, чтобы подданные его не померли все от скуки в новом городе”. Напрасно старались друзья Писемского растолковать ему значение Петербурга по-своему. Молча выслушивал он их размышления о том, что город этот предназначен исправлять народные увлечения, мешать развитию исключительного поклонения своему племени, что останавливает ход истории, проверять наукой и опытом смутные идеалы народных масс, и проч. и проч. Писемский отвечал большей частью на эти заметки шуточками вроде следующей: “Может быть и точно, –

говорил он, – что Петербург – хороший педагог, но я всегда ненавидел своих педагогов, хотя и боялся их смертельно”.

С такими взглядами, основывавшимися более на непосредственном чувстве, чем на каких-либо рассудочных соображениях и теориях, переселился Писемский в 1853 году в Петербург и сразу поразил всех петербургских литераторов особенным, специфически провинциальным духом.

“Трудно себе и представить, – говорит Анненков в своих воспоминаниях, – более полный, цельный тип чрезвычайно умного и вместе оригинального провинциала, чем тот, который явился в Петербурге в образе молодого Писемского, с его крепкой, коренастой фигурой, большой головой, испытующими, наблюдательными глазами и ленивой походкой. На всем его существе лежала печать какой-то усталости, приобретаемой в провинции от ее халатного, распущенного образа жизни и скорого удовлетворения разных органических прихотей. С первого взгляда на него рождалось убеждение, что он ни на волос не изменил обычной своей физиономии, не прикрасил себя никакой более или менее интересной и хорошо придуманной чертой, не припарадился моралью, как это обыкновенно делают люди, впервые являющиеся перед незнакомыми лицами. Ясно делалось, что он вышел на улицы Петербурга точно таким, каким сел в экипаж, отправляясь из своего родного гнезда. Он сохранил всего себя, начиная со своего костромского акцента (“Кабинет Панаева поражает меня великолепием”, – говорит он после свиданья с щеголеватым редактором “Современника”) и кончая насмешливыми выходками по поводу столичной утонченности жизни, языка и обращения.

Все было в нем откровенно и просто. Он производил на всех впечатление какой-то *диковинки* посреди Петербурга, но диковинки не простой, мимо которой проходят, бросив на нее взгляд, а такой, которая останавливает и заставляет много и долго думать о себе… Нельзя было подметить ничего вычитанного, затверженного на память, захваченного со стороны в его речах и мнениях. Все суждения принадлежали ему, природе его практического ума и не обнаруживали никакого родства с учениями и верованиями, наиболее распространенными между тогдашними образованными людьми. Кругом Писемского в ту пору существовало еще в Петербурге много мыслей и моральных идей, признанных бесспорными и которые изъяты были навсегда из прений как очевидные истины. Писемский оказался врагом большей части этих непреложных догматов цивилизации. Так,

учение, исповедуемое почти единогласно развитыми людьми всех оттенков Петербурга, о правах жены и женщины на полную свободу, в которой им отказывает еще современное общество, нашло в нем очень оригинального скептика. Помню изумление в кругу петербургских гуманистов, возбуждаемое его мнением, что женщина составляет только подробность в жизни мужчины и сама по себе, взятая единолично, не имеет значения, что обязанности мужа к жене исчерпываются возможно лучшим материальным содержанием ее и что сердечные отношения между ними наступают только с появлением детей, а совсем не с появления так называемой любви, о которой так много говорят поэты и романисты. Но это мнение было только началом тех сюрпризов, которые Писемский готовил своим слушателям.

Писемский, например, добродушно признавался им, что испытывает род органического отвращения к иностранцам, которого победить в себе не может. “Присутствие иностранца, – говорил Писемский, – действует на меня уничтожающим образом: я лишаюсь спокойствия духа и желания мыслить и говорить. Пока он у меня на глазах, я подвергаюсь чему-то вроде столбняка и решительно теряю способность понимать его”. Конечно, во всех афоризмах подобного рода многое должно быть отнесено и на обычное преувеличение дружеских разговоров, но все-таки присутствие истинного чувства тут несомненно. Кто же не узнает в таких или подобных словах Писемского дальние отголоски старой русской культуры, напоминающие строй мыслей и прежнего боярства, и думных людей Московского царства. Вообще, порывшись немного в наиболее резких мнениях и идеях Писемского, которые мы обзывали сплошь парадоксами, всегда открываешь зерна и крохи какой-то давней полуисчезнувшей культуры, сбереженной еще кое-где в отрывках простым нашим народом. Самый юмор его, насмешливый тон речи, способность отыскивать быстро яркий эпитет для обозначения существенной, нравственной черты характера человека, которая за ним останется навсегда, и, наконец, слово, часто окрашенное ироническим оттенком, сблизило его с деревней и умственными привычками народа, в ней живущего. От них несло особенным ароматическим запахом развороченной лесной чащи, поднятого на соху чернозема, всем тем, что французы называют “parfum de terre” (запахом земли, почвы). При виде Писемского в обществе и в семье, при разговорах с ним и даже при чтении его произведений, я думаю, невольно возникала мысль у каждого, что перед ним стоит исторический великорусский мужик, прошедший через университет, усвоивший себе общечеловеческую цивилизацию и сохранивший многое, что отличало его до этого

посвящения в европейскую науку. Можно легко представить себе, какой интерес представлял подобный тип в Петербурге.

Вообще осторожность, с какой Писемский держался в стороне от теоретических и философских разговоров, когда они завязывались перед ним, показывала, что отвлеченные идеи не имели в нем ни своего ученика, ни своего поклонника. Это подтверждалось и фактически многими проявлениями его анализирующего ума. Писемский удерживал, например, легко заметки и мысли, способные мирно уживаться с насущным умственным содержанием русского человека, и тотчас забывал о тех из них, которые служили, так сказать, светочами для общечеловеческого развития. Вообще он никогда не мог усвоить себе хорошенько представления об этом общечеловеческом развитии – малопонятном, по его мнению, без указания на какой-либо народ, целиком воплотивший его в себе, без примеси национальных пороков и особенностей, если такой народ еще найдется на свете! [5] Сколько споров по одному этому вопросу происходило тогда! Людей сороковых годов, так много говоривших об общечеловеческом развитии, Писемский весьма уважал как двигателей общества, что и заявил во многих местах своих сочинений и даже в целом романе, но он был решительным противником их идеализма. Да и как бы он принял их учение о единой вселенской морали, обязательной для всех народов, достигших известной степени цивилизации, когда в противность их убеждениям он любил слабости, недостатки, даже дурные природные наклонности своего племени, носил следы их в самом себе и, понимая их вполне, нисколько не раскаивался в них и всего менее думал об их исправлении. Прежде всего, Писемский был нервным человеком в высшей степени и состоял под деспотическим управлением воображения и фантазии, которые могли играть им (и играли) по своему произволу. В нем не сказывалось ни малейших признаков дисциплины над собой. Он допустил развиться в себе одной психической черте до болезненности, мы говорим о его нервной трусливости перед внешним миром. Он боялся толпы на улице, недоверчиво смотрел на всякое новое явление, вносимое в жизнь прикладными науками, и, например, по открытии железных дорог никогда не ездил на курьерских поездах, говоря, что они устроены для бешеных людей, не знающих, куда девать излишек животной своей жизни. Его тревожили известия и события, возникшие даже на очень дальних пунктах от места его пребывания, хотя он и не мог сказать сам, в чем состоит тут опасность для него”.

Сверх того, Анненков рассказывает, как он с непривычки был озадачен, когда однажды, вскоре после знакомства с Писемским,

возвращаясь с ним довольно поздно с вечера, проведенного у друзей, услыхал от него необычайный вопрос: “Скажите, вам никогда не случалось думать, подъезжая к своему дому, что без вас там могло произойти большое несчастие?” При этом Писемский прибавил доверчиво: “Мне часто случается стоять у порога моей двери с замиранием сердца: что, если дом ограблен, кто-нибудь умер, пожар сделался, – ведь все может случиться!” Причем по голосу его слышно было, что он говорил серьезно.

О мнительности Писемского свидетельствуют и другие его современники. Так, вот что сообщает И.Ф. Горбунов о своем совместном с Писемским морском путешествии из Петербурга в Кронштадт летом 1855 года, в то самое время, когда перед Кронштадтом стоял неприятельский флот:

> “Раз, в начале июня, я по обычаю пришел к Алексею Феофилактовичу и застал его встревоженным.
>
> – Что с вами? – обратился я к нему.
>
> – Как, братец, разве не знаешь? Посмотри.
>
> И он указал мне на письмо от князя Д.А. Оболенского. Из него я узнал, что мы завтра в два часа должны с ним прибыть на казенный пароход, стоящий на Неве, который нас доставит на фрегат “Рюрик”, к великому князю Константину Николаевичу.
>
> – Так что же? – сказал я.
>
> – Как – что? По морю-то плыть, не по Волге!
>
> – Да далеко ли тут?
>
> – У тебя нервов нет? В шхерах-то там налетишь…
>
> – Да какие там шхеры!..
>
> Целый день он волновался, а вечером мы отправились на пароход, на котором мы должны плыть в Кронштадт, и нам любезно дозволили войти на него и осмотреть. Алексей Феофилактович успокоился.
>
> – Это пароход серьезный, – утешал он себя, хотя пароход был очень маленький.
>
> В назначенное время мы были на пристани и ровно в два часа отошли в Кронштадт. Через полчаса Алексей Феофилактович освоился с морем, бояться перестал, а интересовался только знать – виден ли будет неприятельский флот.
>
> Вот показался Кронштадт… Все ближе… ближе… яснее… вот наши суда.
>
> “Стоп машина”, – раздалась команда. Под пароходом забурлило. С фрегата “Рюрик” донеслись через рупор какие-то слова, отвалил катер и направился к нашему

пароходу; взяв нас, пошел обратно к фрегату. На фрегате мы были представлены начальствующим лицам. Великий князь находился в каюте: у него был доклад.

– Не угодно ли вам осмотреть наш фрегат, – обратился командир, капитан Баженов.

Писемский молча повиновался и пошел, я последовал за ним. Нам показали орудия, ядра, картечи и наконец пригласили на марс, откуда простым глазом видны были мачты неприятельского флота, а посредством труб мы узнали, что неприятель сушит белье. Новость впечатлений была очень сильна. Писемский с уважением смотрел на пушки, но подходить к ним близко не решался и даже сделал мне замечание, когда я внимательно осматривал одно орудие.

– Отойди, – заметил он строго.

При входе в каюту мы были представлены молодому великому князю, который так милостиво и любезно встретил нас, что заставил позабыть всякое смущение.

– Я с удовольствием читал ваши сочинения, – сказал он Писемскому, – и очень рад, что услышу ваше чтение. Мне говорили, что вы мастерски читаете.

Потом обратился ко мне:

– А вы еще юноша…

– Только что начинает, – заметил Писемский нежным отеческим тоном.

Сели на палубе за длинный стол, подали чай, началось чтение. Писемский сначала зачитал робко, вяло, но скоро он овладел собой, и полились из уст его речи, сладчайшие меда. Его высочество неоднократно останавливал чтение и выражал автору свое удовольствие. Рассказ был уже близок к концу, вдруг… глухой пушечный выстрел! Писемский вздрогнул и побледнел; другой… третий… четвертый…

– Начали?! – произнес он простодушно, робко окинув всех глазами. Ему представилась бомбардировка.

– Это салют; к неприятелю идет пароход с моря, – успокоили его.

Пальба продолжалась, и Писемский не раньше ее окончания приступил к чтению, но начал читать двумя тонами ниже – так его поразила эта неожиданность. После чтения я рассказал весь бывший тогда у меня репертуар. Обласканные вниманием великого князя, в 11 часов вечера мы поплыли тем же порядком обратно. На пути нас встретил туман, и мы ощупью шли до

Петербурга. Алексей Феофилактович всех истерзал. Ему представлялись подводные камни, мели, а в устье Невы померещились мины.

– Туман, братец, – говорил он мне, – наткнешься и полетишь. Однако Бог нас помиловал: мы пришли благополучно".

В свою очередь некто г-н Н-в свидетельствует в своих воспоминаниях о Писемском, помещенных в "Стране" за 1881 год, что вдруг ему стало представляться, что те лица, от которых ему приходится брать деньги, будут непременно давать ему фальшивые бумажки, и мысль эта производила в нем сильное беспокойство, вследствие чего он зачастую отправлялся в казначейство с полученными деньгами и просил проверить, не фальшивые ли они.

Насколько мнительность Писемского резко отпечатлевалась на самой его физиономии, мы можем судить по нижеследующему письму его, писанному в 1880 году фотографу Шапиро по поводу изданной последним галереи портретов русских писателей, среди которых есть и портрет Писемского:

"Мой портрет носит те же недостатки, которые оказываются у меня во всех моих фотографических портретах и которые, конечно, зависят от моего неуменья сидеть. У меня на всех фотографиях выходят какие-то вылупленные, испуганные и как бы даже какие-то сумасшедшие глаза, может быть потому, что, в самом деле, когда меня сажают перед камер-обскурное стекло, то я чувствую если не страх, то сильное беспокойство".

С приездом в Петербург в 1853 году жизнь Писемского естественно приняла совсем иной характер, чем в провинции. "До первых годов шестого десятилетия, – по свидетельству г. Боборыкина, – в течение пяти-шести лет Писемский пользовался самой большой популярностью. Он сделался достоянием Петербурга, жил бойко, редакторы журналов за ним ухаживали, его видали часто и в светских салонах, знали как чтеца и даже как актера-любителя".

Но та затаенная цель, ради которой переселился Писемский в Петербург, – а именно обеспечить себя и создать прочное положение – оказывалась недостижимой, и Писемскому пришлось довольствоваться весьма малым, едва сводя концы с концами. "Тогдашняя жизнь Писемского в Петербурге, – по свидетельству Анненкова, – близко подходила к жизни литературного пролетария, который принужден беспрестанно считаться со

своими средствами. Дом его содержался в большом порядке благодаря хозяйке; но выдающаяся простота его обстановки показывала, что экономия была тут не делом вкуса, а необходимости. Писемский переносил стеснения далеко не спокойно; он досадовал на свою бедность и искал средств выйти из нее, с чем, собственно, и явился в Петербург. На первых порах он даже определился на службу в один из петербургских департаментов (в Удел кажется), и любопытно, что позднее, когда покинул его (а случилось это очень скоро), Писемский указывал на одно чиновное лицо, покровительствовавшее ему, со словами: “Никогда не прощу этому человеку того, что я старался понравиться ему и выказать себя умницей”.

Тяжелое материальное положение было связано между прочим и с тем, что в литературной деятельности Писемского в это время наступила полоса малой производительности. Так, в продолжение всего 1854 года появились в печати лишь следующие два его произведения: “Фанфарон” в “Современнике” и “Ветеран и новобранец” в “Отечественных записках”. В 1855 году были напечатаны (кроме вышеозначенной критической статьи в “Отечественных записках”) также лишь две его вещи: “Плотничья артель” и “Виновата ли она?” Из всех этих произведений одна “Плотничья артель” отличалась ярким талантом, который проявился в мастерском изображении народного быта. Прочие работы ничего не прибавили к славе Писемского; “Ветеран…” же “… и новобранец” – драматический случай в одном действии – был и совсем плох. Заплативши дань патриотическому настроению общества, возбужденному ужасами севастопольской войны, Писемский вместе с тем обнаружил всю свою неспособность к драматическому одушевлению и потрясению нервов чувствительными эффектами.

Зарабатывая, таким образом, весьма мало литературным трудом и получая скудную плату за свои произведения при существовавших в то время низких расценках, Писемский, по словам Анненкова, выражал громко свое негодование на обстоятельства, которые вынуждают настоящего производителя ценностей быть зависимым от собирателя их и торговца ими. Не стесняясь, он в глаза говорил издателям журналов и сборников, что их благосостояние зиждется на эксплуатации и бедности их сотрудников и вкладчиков.

“Никто, – рассказывает Анненков, – не сердился на него за эти слова, во-первых, потому, что их произносил весьма нужный человек, и, во-вторых, потому, что в сущности это были безобидные слова, не способные изменить обычаев литературного рынка. Но и для Писемского наступил день, когда он

почувствовал, что жизненная его работа не пропала задаром. В 1861 г. один из предпринимателей в Петербурге (Стелловский) купил у него право на издание всех его дотоле появившихся сочинений за 8 тысяч рублей – сумма немаловажная по тому времени. С этим обстоятельством, давшим Писемскому возможность почувствовать себя самостоятельным писателем, имеющим свою цену на литературной бирже, связывается еще довольно характерный анекдот, рассказанный самим героем его. После долгих и серьезных прений со своим издателем, согласившись на его условия и получив крупный задаток, Писемский вздумал тотчас же и попробовать себя в роли капиталиста. Он отправился в одно из пышных публичных заведений столицы, где богатые люди мотают свою жизнь и состояние и мимо которого он проходил, с любопытством посматривая на его двери. Теперь он шумно раскрыл их и, как власть имущий, гордо вступил в недоступные прежде чертоги, но, встретив там нечеловеческое подобострастие и звериную алчность к деньгам, тотчас же очнулся. Готовность служить всем его капризам отрезвила его лучше всякой проповеди и вместо поощрения к издержкам погнала его вон, к себе домой… Анекдот хорошо рисует соединение сильного практического смысла с детской наивностью и фантастическими порывами, которые составляли сущность характера этого человека".

В 1856 году, как известно, морское министерство обратилось к нескольким пользовавшимся известностью литераторам с предложением отправиться за казенный счет на различные российские побережья, чтобы исследовать быт приморских краев в этнографическом и торговом отношениях. В числе таких избранников был и Писемский, посланный с этой целью морским министерством в Астрахань и на побережья Каспийского моря. Но из этой поездки Писемский вынес очень мало как для министерства, так и для самого себя, причиною чего была, конечно, крайне недостаточная научная подготовка для дела, требовавшего не одного беллетристического таланта, но и специальных познаний. Единственным результатом поездки Писемского были два небольших путевых очерка в "Морском сборнике", непроходимо скучные и наполненные не столько личными наблюдениями, сколько длиннейшими выписками из разных сочинений, касающихся того края, в который он ездил. Так как поездка эта отняла у Писемского много времени, то в продолжение 1857 года появился лишь небольшой рассказ его в "Библиотеке для чтения" – "Старая барыня". Впрочем, все это время, почти с самого приезда в Петербург, Писемский был занят писанием большого романа, представлявшего chef-d'oeuvre его

литературной деятельности, “Тысяча душ”. В 1858 году Писемский оказался вдруг во главе толстого журнала, и, конечно, не что иное, как всё те же скудость средств и надежда на прочное положение заставили его взяться за дело, совершенно не подходящее ни к строю его ума, ни к темпераменту.

Мы уже видели, что, приехав в Петербург, Писемский прежде всего сошелся с редакцией “Современника”. Но редакция эта, со своими определенными тенденциями, оставалась всегда чужда Писемскому при его беспринципном скептицизме и миросозерцании, остававшемся на степени детских верований и предрассудков. По всей вероятности, и главные представители редакции “Современника” скоро его разглядели. Они оценили его крупный талант, с радостью готовы были поместить на своих страницах каждое его талантливое произведение, но в то же время не сближались с ним как с человеком. Единственным сотрудником “Современника”, с которым близко сошелся Писемский, был известный критик того времени А.В. Дружинин. Своим эклектизмом, чопорным англоманством и приверженностью к чистому искусству, доходившей даже до отрицания Белинского, Дружинин менее всего устраивал редакцию “Современника”, и его терпели в ней лишь на безрыбье. Писемский же, очевидно, потому именно и сблизился с Дружининым, что оба были по плечу друг другу отсутствием строго определенных и страстно проводимых принципов и тенденций. Сближало Писемского с Дружининым также и то обстоятельство, что последний, вследствие своей эклектической наклонности воздавать всему должное, отнюдь не питал той нетерпимой партийной вражды к московским друзьям Писемского, почвенникам, группировавшимся вокруг “Москвитянина”, какой были преисполнены прочие сотрудники “Современника”, готовые относиться отрицательно и к такому талантливому представителю московского кружка, как Островский. Дружинин завязал даже, от своего имени и не спросясь редакции, на страницах “Современника”, в “Письмах иногороднего подписчика”, дружеские сношения с почвенниками, почему и получил их симпатии и прозвище – “честный рыцарь”.

Когда же во главе редакции “Современника” стали новые, юные силы и журнал после Крымской войны все определеннее и резче начал отстаивать свои принципы, дальнейшее участие в нем Дружинина стало немыслимым и он перешел в “Библиотеку для чтения”, где сделался постоянным сотрудником и редактором и куда перенес свои “Письма иногороднего подписчика”. Вместе с ним отвернулся от “Современника” и Писемский. По крайней мере, мы видим, что свой большой роман “Тысяча душ” он

запродал “Отечественным запискам”, где тот и был напечатан в течение 1858 года. В “Современнике” же это самое крупное и лучшее до того времени произведение Писемского не удостоилось мало-мальски обстоятельного отзыва, и лишь Добролюбов в своей статье о “Накануне” Тургенева небрежно заметил вскользь, что о новом романе Писемского он вовсе не говорил, потому что, по его мнению, “вся общественная сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее. Стало быть, тут не о чем толковать, кроме того, в какой степени ловко составил автор свое сочинение. Положиться на правду и живую действительность фактов, изложенных автором, невозможно, потому что отношение его к этим фактам не просто и не правдиво”.

Возглавив “Библиотеку для чтения”, Дружинин не замедлил пригласить в соредакторы Писемского, с одной стороны, потому, что злейшая чахотка, подтачивая его силы, не позволяла ему единолично вести журнал, а с другой стороны, потому, что редакция “Библиотеки для чтения” – журнала, совершенно утратившего в глазах публики всякое значение и находившегося в крайнем упадке, – надеялась поднять журнал и привлечь к нему внимание, поставив во главе его столь почтенного человека, как Писемский. Таким образом, с 1858 года Писемский встал во главе “Библиотеки для чтения”, и редакторство его продолжалось четыре года, до 1862. Ниже мы расскажем о печальном финале этой деятельности Писемского. Теперь же приступим к характеристике его романа “Тысяча душ”.

Представляя собою лучшее произведение из всего написанного Писемским в продолжение всей его литературной деятельности, роман “Тысяча душ” является в то же время ярким выражением всех достоинств и недостатков творчества Писемского. Во всех предыдущих своих произведениях Писемский имел дело преимущественно с частной жизнью провинциального общества и не шел далее изображения различного рода семейных дрязг, вероломных любовных измен, своекорыстных расчетов, уездных сплетен и т. п. Здесь же раскрывается перед вами широкая картина общественной жизни провинции, рисующейся самыми мрачными красками, с акцентом на всем том возмутительном безобразии, какое было свойственно этой расшатанной во всех своих основах жизни в то время. История вице-губернаторсгва и губернаторства главного героя романа Калиновича со всеми ее подробностями и аксессуарами ничем не уступает “Губернским очеркам” Щедрина и имеет совершенно такое же гражданское значение. Этой картиной Писемский сторицей заплатил дань своему веку, выложив в своем романе

весь тот горький опыт, какой вынес он из своей многолетней службы в провинции.

Но одной историей служебной деятельности Калиновича не исчерпывается роман Писемского. Если же мы возьмем его во всем его целом, то, напротив, он поразит нас тем, что, платя этим романом дань своему веку, в то же время ни в одном из предыдущих произведений Писемский не расходился так со своим веком, как именно в этом самом романе. Время появления романа было эпохой всеобщего оживления, розовых надежд, горячего энтузиазма, который охватил все слои общества. Все жаждали обновления, широких и решительных реформ и готовы были принести все свои силы и саму жизнь на алтарь отечества. И вдруг именно в такое время Писемский в своем романе проявляет еще больший пессимизм, чем когда-либо прежде. Естественно, что если в предыдущих произведениях пессимизм Писемского никому не казался странным и неуместным, так как вполне гармонировал с мрачным колоритом жизни, то теперь он явно шел вразрез с настроением общества. Судите сами, каким диссонансом звучали нижеследующие строки романа, в которых Писемский с полной, небывалой еще прежде откровенностью высказал свою мрачную философию жизни. Как раз в такое время, когда возникали новые альтруистические идеалы и являлись на сцену суровые ригористы, видевшие преступление в малейших заботах о своей личности, Писемский писал:

> “Надобно сказать, что комфорт в уме моего героя всегда имел огромное значение. И для кого же, впрочем, из солидных, благоразумных молодых людей нашего времени не имеет он этого значения? Автор дошел до твердого убеждения, что для нас, детей нынешнего века, слава… любовь… мировые идеи… бессмертие – ничто пред комфортом. Все это в душах наших случайное; один только он стоит впереди нашего пути, со своей неизмеримо притягательной силой. К нему-то мы направляем все наши усилия. Он один наш идол, и в жертву ему приносится все дорогое, хотя бы для этого пришлось оторвать самую близкую часть нашего сердца, разорвать главную его артерию и кровью изойти, но только близенько, на подножии нашего золотого тельца! Для комфорта проводится трудовая, до чахотки, жизнь!.. Для комфорта десятки лет изгибаются, кланяются, кривят совестью!.. Для комфорта кидают семейство, родину, едут кругом света, тонут, умирают с голода в степях!.. Для комфорта чистым и нечистым путем ищут

наследства; для комфорта берут взятки и совершают, наконец, преступления!”

С первого взгляда может показаться, что эта тирада исполнена иронии и сарказма, но мы имеем полное основание предполагать, что автор высказал здесь свое “твердое убеждение”, как он сам выражается, без всякой задней мысли. Надо заметить, что как ни стремился Писемский во всех своих произведениях к объективности, это был писатель, обладавший значительной дозой субъективности. Субъективность его, конечно, не простиралась до такой степени, как, например, у Байрона или у Лермонтова, которые постоянно имели дело со своей личностью. Тем не менее в каждом произведении Писемского вы найдете отражение того, что переживал сам автор во время его создания. Мы видели, что некоторые его романы и повести заключают даже в себе несомненный автобиографический материал, на что указывает в своей автобиографии сам Писемский. Но и самые, казалось бы, объективные произведения, как, например, роман “Тысяча душ”, не чужды того же автобиографического элемента. Так, нам известно, что, подобно Калиновичу, не довольствуясь первыми своими литературными успехами, Писемский приехал в Петербург не для чего иного, как именно ради приобретения того самого комфорта, силу которого он называет “неизмеримо притягательной”. По приезде в Петербург Калиновичем овладевает “тоска и какой-то безотчетный страх” – чувства, как мы видели, в большой степени свойственные ипохондрическому характеру Писемского. Далее, совершенно как автор, Калинович колеблется между службой и литературой, причем Писемский не преминул в своем романе изобразить то глубокое разочарование, какое вынес он из ближайшего знакомства с организацией литературного труда в Петербурге. Мы видели уже из воспоминаний Анненкова, как сетовал и негодовал Писемский на эксплуатацию литературных тружеников издателями периодических органов. Совершенно согласно с такими чувствами Писемский изображает редактора толстого журнала, в котором была напечатана первая повесть Калиновича, в виде “растолстевшего сангвиника с закинутою назад головою, совершенно без шеи, и только маленькие, беспрестанно бегавшие из-под золотых очков глаза говорили о его *коммерческих способностях”*. И между тем как этот утопающий в роскоши сибарит кидает десятки тысяч на француженок и в то же время обсчитывает Калиновича на 90 рублей при выдаче ему гонорара, настоящим редактором, на плечах которого лежит весь журнал, оказывается некто Зыков, литературный труженик вроде

Белинского. Едва сводя концы с концами, он живет в пятом этаже и, сгорая от непосильной работы, находится в последнем градусе чахотки. Несмотря на всю свою страстную любовь к литературе, он в то же время не только не поощряет Калиновича отдаться ей, а, напротив, патетически восклицает: “Чорт с ней, с этой литературой! Она только губит людей. Вот оно, чего я достиг с ней: пусто тут, каверны. Вот у меня теперь сынишка, и предсмертное мое заклятье его матери: пусть он будет солдатом, барабанщиком, целовальником, квартальным, но не писателем, не писателем!..”

Разница между Писемским и его героем заключалась лишь в том, что Писемский успел разочароваться в служебной деятельности раньше еще, чем в литературной, и для него не было уже возврата, тогда как Калиновича ждало еще впереди разочарование в административном поприще.

В этом отношении Калинович представляется как нельзя более современным типом. В то время, когда появился роман, то есть в конце пятидесятых годов, героями дня были именно администраторы-громовержцы, являвшиеся в провинцию с печатью высшего образования на челе и с неукротимым стремлением карать зло и истреблять плевелы в виде мелких взяточников и всякого рода попустителей. Такого рода герои прославлялись в то время и на страницах журналов, и на сценах театров, изображаясь в безусловно идеальном блеске, как такой безукоризненный образец гражданской доблести, выше которого трудно себе что-либо и представить.

Как истый скептик и пессимист Писемский облил ледяной водой это поклонение величественным карателям мелких воришек. Многие были недовольны типом Калиновича в том отношении, что он несет в себе какую-то странную двойственность. С одной стороны, перед вами черствый и бездушный карьерист, которому ничего не стоит обольстить девушку, а сделавшись ее женихом, бросить ее и жениться на кривобокой наследнице тысячи душ исключительно ради устройства комфортабельной жизни и карьеры; затем без всякой жалости посадить в тюрьму того самого князя, который помог ему жениться; наконец, выдвинуться, наконец, избить свою супругу, которой он обязан всем. И, тем не менее, тот же самый Калинович производит на читателей впечатление человека во всяком случае выше всех головою, и они до самой последней страницы чувствуют к нему не отвращение, какое должны внушать его поступки, а напротив, если не сочувствие и участие, то жалость.

Но в том именно и заключается глубокая ирония романа, что Писемский вывел в лице Калиновича вовсе не одного из тех

мелких и заурядных бессердечных карьеристов, какие встречаются в жизни на каждом шагу. Это не Хазаров и не Бахтиаров, у которых в сердце не осталось ни одной искры Божией. Калинович и на самом деле выше всех окружающих, человек не только с высшим образованием, но и с душою. Недешево обходилась ему каждая сделка с совестью, причиняя такие мучительные страдания, как будто от него отрывали куски живого мяса. Автор, без сомнения, хотел показать своим Калиновичем, что нет никакой возможности подняться на административные высоты беднякам вроде самого Писемского, какого бы они ни были ума, без тяжких и постыдных пожертвований лучшими человеческими инстинктами. Но и поднявшись на самые завидные высоты, герои вроде Калиновича далеко не успокаивают мучения своей совести и не вознаграждают себя за все пожертвования сознанием полезности своей деятельности. Оказывается, что для того, чтобы удержаться на высоте, необходимо продолжать вступать в еще большие компромиссы со средою и в конце концов приходится свести свою деятельность исключительно к снисканию благ земных и смотреть сквозь пальцы на все совершающиеся вокруг мерзости. Калинович же вообразил, что достигнутая им власть губернатора дает ему возможность вполне свободно осуществлять свои гражданские идеалы, хотя бы лишь отрицательно, являясь Юпитером-громовержцем для всей той неправды, какою были проникнуты общественные дела и отношения вверенного ему края. Но своей террористической деятельностью он возбудил лишь всеобщий ужас, озлобление, и его поспешили убрать как человека беспокойного, который и сам не пользуется благами жизни и другим жить мешает. Трудно и представить себе более глубокую и правдивую иронию, нежели та, которой проникнута вся эта история, – иронию не только над честолюбцами вроде Калиновича, но и над всем русским обществом того времени.

Тот же горький пессимизм, какой пронизывает общественную сторону романа, проникает и все частные отношения героев. Так, например, какой идеальной личностью должна была бы казаться Настенька с ее глубокой и неизменной привязанностью к Калиновичу, несмотря на все возмутительно бессердечное отношение его к ней. Читатель должен был бы отдыхать душою на этой единственной светлой личности романа. Но и ее не преминул Писемский облить ядом своего скептицизма. Во-первых, Писемский остался применительно и к этой своей героине верен своему прежнему взгляду на женщин, что даже самые лучшие из них ни на что более не способны, как только питать рабскую кошачью привязанность к избраннику своего

сердца и беспрекословно довольствоваться ролью одной из прихотей комфорта в жизни мужчины. И действительно, Настенька ни к чему более не стремится, как лишь к исполнению столь скромного женского предназначения. Но и на это скромное предназначение Писемский не замедлил сделать плевок в виде особенного свойственного ему иронического взгляда на любовь вообще, как мужскую, так и женскую. Сначала такой иронический взгляд высказывается относительно мужской любви.

Изображая, как Калинович на пути в Петербург ухаживал за сидевшей с ним в одном вагоне кокоткой, Писемский замечает при этом:

> “Здесь мне опять приходится объяснить истину, совершенно не принимаемую в романах, – истину, что никогда мы, грубая половина рода человеческого, не способны так изменить любимой нами женщине, как в первое время разлуки с нею, хоть и любишь ее еще с прежнею страстью. Дело тут в том, что воспоминания любви еще слишком живы, чувства жаждут привычных наслаждений, а между тем около нас пусто и нет милого существа, заменить которое мы готовы, обманывая" себя, первым хорошеньким личиком”.

Но далее оказывается, что не только грубая, но и нежная половина человеческого рода обладает тем же свойством. По крайней мере тотчас же после измены Калиновича брошенная им Настенька была готова отдаться принявшему в ней участие Белавину, и вот что говорила она в свое оправдание:

> “Послушай: если когда-нибудь тебя женщина уверяла или станет уверять, что вот она любила там мужа или любовника, что ли… он потом умер или изменил ей, а она все-таки продолжала любить его до гроба, поверь ты мне, что она или ничего еще в жизни не испытала, или лжет. Все мы имеем не ту способность, чтобы вот любить одно существо, а просто способны любить или нет. У одной это чувство больше развито, у другой меньше, а у третьей и ничего нет… Как я глубоко и сильно была привязана к тебе, в этом я кидаю перчатку всем в мире женщинам! Но в то же время, когда была брошена тобой и когда около меня остался другой человек, который, казалось, принимает во мне такое участие, что дай Бог отцу с матерью… я видела это и невольно привязалась к нему”.

В конце романа Писемский сочетал, как известно, Калиновича и Настеньку законным браком, но его в то же время взяло беспокойство, как бы читатели не подумали, что он, по примеру прочих романистов, соединил два неизменно и нежно любящих сердца лишь ради вожделенной развязки, и он спешит оговориться:

> “Через полгода после смерти жены Калиновича, Полины, Калинович женился на Настеньке. Факт этот, казалось бы, развязывает мне как романисту все нити, но в то же время я никак не могу, подобно старым повествователям, сказать, что главные герои мои после долговременных треволнений пристали наконец в мирную пристань тихого семейного счастья. Далеко это было не так на самом деле! Сломанный нравственно, больной физически, Калинович решился на новый брак единственно потому только, что ни на что более не надеялся и ничего уже более не ожидал от жизни, да и Настенька, актриса в душе, оставила театр и сделалась действительной статской советницей скорее из сознания какого-то долга, что она одна осталась в мире для этого человека и обязана хоть сколько-нибудь поддержать и усладить жизнь этой разбитой, но все-таки любезной для нее силы…”

ГЛАВА V

Рассказы из народного быта и комедия "Горькая судьбина". – Причины непонимания Писемским движения шестидесятых годов и его реакционные взгляды. – Полемика с "Искрой". – Роман "Взбаламученное море"

Вслед за романом "Тысяча душ" последовало другое произведение, которое ставится обыкновенно во главе всего написанного Писемским, – знаменитая комедия его "Горькая судьбина". Но прежде чем приступим к характеристике этой комедии, считаем необходимым сказать несколько слов обо всех вообще произведениях Писемского из народного быта, каковыми являются "Плотничья артель", "Питерщик", "Леший" и "Батька".

Произведениями этими Писемский заплатил дань своему веку. Редкий писатель того времени обходился без рассказов и очерков, если не обширных романов, из быта крестьян, мещан или купцов. Но Писемский и в этих рассказах своих сумел остаться вполне самим собою, тем же скептиком-пессимистом, индифферентным к каким бы то ни было тенденциям, господствовавшим в его время. Он был совершенно чужд как идеализации народа, так и сентиментальных сожалений о его печальной участи, которые составляли в литературе того времени заурядное явление. Он и на освобождение крестьян смотрел скептически, утверждая, по словам Анненкова, публично в 1861 году, что "новое выработанное положение о крестьянах предстанет перед нами не в виде нравственного дела по преимуществу, а в виде фискального решения первой инстанции суда по давней имущественной тяжбе их с помещиками. Тягаться можно будет и после того, в других инстанциях".

"Писемскому казалось, – говорит далее Анненков, – что без сильных "нравственных авторитетов" народ не расстанется ни с одним из тех свойств, которые получил в период рабства и чиновничьих притеснений, а только приноровится к новым учреждениям и в их рамках разовьет еще с большей энергией дурное нравственное наследство, полученное им от прошлого. Он не придавал особенного значения и будущему развитию благосостояния освобожденных, на которое многие рассчитывали как на сильный нравственный двигатель: жизненный опыт привел его к заключению, что богатство и нажива могут быть родоначальниками еще больших пороков и безобразий, чем сама скудость, которая считается их матерью".

Вот какой общий взгляд на народ перед освобождением проводит Писемский в своем романе "Взбаламученное море":

> “Простой народ стал приходить наконец в отупение: с него брали и в казну, и барину, и чиновникам, да его же чуть не ежегодно в солдаты отдавали. Как бы в отместку за все это он неистово пил отравленную откупную водку и, приходя оттого в скотское бешенство, дрался, как зверь, или со своим братом, или с женой и беспрестанно попадал за то на каторгу”.

Исходя из этого, вы можете судить, как далек был Писемский от малейшей идеализации народа, от представления мужиков идеальными и невинными страдальцами. И действительно, в его рассказах, обнаруживающих большое знание народной жизни и мужицкого говора, вы не встретите и тени каких-либо протестов против угнетенного положения крестьян. Содержание этих рассказов составляют различные драматические эпизоды из жизни крестьян, причем Писемский своим бесстрастно объективным протоколизмом очень напоминает Золя в его романе “La terre”. Крестьяне Писемского, подобно крестьянам романа Золя, являются дикарями, живущими непосредственной жизнью животных влечений, причем, как у всех дикарей, самые высокие душевные движения соединяются в них со скотским зверством и часто одно незаметно переходит в другое.

То же самое видим мы и в “Горькой судьбине” Писемского. Прежде всего изложим со слов Анненкова историю этой комедии. Основа ее не была выдумана художником. Писемский столкнулся с изображенным в ней происшествием в 1848 году, будучи еще чиновником особых поручений при костромском губернаторе. Он держал в руках подлинное дело точно такого же содержания и в качестве следователя, командированного губернатором, сам принимал участие в его разборе. Комедия писалась им летом на даче, близ Петербурга, и случилось, что однажды автор ее встретился на прогулке с актером Мартыновым. Он зазвал его к себе в дом и прочел ему первые три действия комедии, тогда написанные. Знаменитый артист пришел в восторг от них и изумил Писемского, выразив намерение взять роль мужа, когда пьеса поступит на сцену. Тогда еще никто не мог угадать в Мартынове драматического призвания, и Писемский выразил свое сомнение; но великий комик настоятельно требовал предоставления ему роли Анания. Кажется, этого не случилось, и Мартынову суждено было посредством других и менее значительных ролей продемонстрировать присутствие в себе того патетического элемента, которым обладает всякий истинный комик. В заключение Мартынов спросил: “А как ты намерен окончить пьесу?” Писемский отвечал: “По моему плану Ананий

должен сделаться атаманом разбойничьей шайки и, явившись в деревню, убить бурмистра". "Вот, это не хорошо, – возразил Мартынов, – ты заставь его лучше вернуться с повинной головой и всех простить". Писемский был поражен верностью этой мысли и буквально последовал ей. Так хорошо угадал знаменитый артист сущность пьесы, прозрел законный, необходимый исход ее чутьем истины, присущим всякому подлинному таланту.

На первый взгляд может показаться, что в комедии "Горькая судьбина" народ в лице Анания с его цельной, непосредственной натурой и непоколебимо твердыми взглядами на жизнь и на людей чрезмерно превознесен по сравнению с барами, представителем которых является помещик Чехлов, полюбивший жену Анания, Лизавету. Но эта иллюзия происходит лишь оттого, что помещик выведен в комедии в слишком уж безобразном виде. Писемский и здесь не мог обойтись без своей обычной иронии. Перед вами не заурядный патриархальный крепостник-бабник, невозбранно пользующийся деревенскими красотками силою своей помещичьей власти. Чехлов – человек высшего образования, гнушающийся крепостного права и отрицающий его. Он не насильничает Лизавету, а воображает, что разыгрывает с нею роман в духе Жорж Санд, пылая к ней романтической страстью. Он и не замечает при этом, что при всех своих гуманностях он остается все тем же крепостником-насильником и его "свободная любовь" является "свободной любовью" волка к овечке. Верх же нравственного безобразия раскрывается перед нами в конце драмы, когда Чехлов, продолжая донкихотствовать в духе своих рыцарских идеалов, высказывает сожаление, что русские нравы и порядки мешают ему вызвать Анания на дуэль. Эта крайняя изломанность и отрешенность от жизни одного из последних могикан крепостного права производит и в настоящее время ошеломляющее впечатление. В эпоху же появления "Горькой судьбины" в печати и на сцене, в момент освобождения крестьян, впечатление это было еще в большей степени потрясающее. При взгляде на Чехлова глубоко чувствовалось, что час крепостного права пробил и дальнейшее существование его действительно немыслимо.

Понятно, что по сравнению с таким киселеобразным ничтожеством, каким представляется Чехлов, Ананий может показаться богатырем и в физическом, и в нравственном отношениях. Но вглядитесь вы в этого самого Анания помимо всяких сравнений, и вы увидите, что вся его высокая нравственность – нравственность деревенского кулака, готового превратиться со временем в самодура в духе Кита Китыча.

Женясь на Лизавете, он нарочно берет беспридданницу, чтобы

она ему была по гроб предана из благодарности, а о любви ее к нему и не допытывается на том основании, что и “все мужики женятся не по особливому какому расположению, а все-таки, коли в церкви Божьей повенчаны, значит, надо жить по закону”. По приезде из Питера он степенно и резонно рассказывает обо всех виденных им в столице диковинках. Вы обнаруживаете в нем человека бывалого и словно тронутого несколько цивилизацией. А между тем в нем сидит зверь, и стоило ему услышать о том, что жена изменила ему и прижила с барином ребенка, зверь этот проснулся, и, обратившись в необузданного дикаря, Ананий первым делом избил жену до полусмерти. Затем он успокоился; с одной стороны, человеческие чувства, а с другой – практические соображения взяли в нем перевес. Он сообразил, что в крестьянском быту под барской властью такие случаи нередки и не могут быть причиной семейного позора, и был готов не только простить жену, но и признать своим ребенка ее. “По крайней мере, – говорит он, – для чужих глаз сделать надо, что ничего как бы этого не было; ребенок, значит, мой, и ты мне пока жена честная”.

Когда же Ананий узнает, что жена не поневоле сошлась с барином, а по любви и готова даже бежать к нему от мужа, в нем опять просыпается зверь и дикарь; он бросается к жене и убивает ее ребенка в порыве необузданной ярости, а потом снова приходит в себя, является на место преступления и отдается властям.

Из этого всего вы можете видеть, в какой степени и в “Горькой судьбине” Писемский оставался верен своему взгляду на простой народ как на отупевших и озверевших дикарей, которые, “приходя в скотское бешенство, дрались, как звери, или со своим братом, или с женой и беспрестанно попадали за то на каторгу”.

Удостоенная Академией Уваровской премии и поставленная на сцене Александрийского театра в 1863 году, комедия Писемского впоследствии сделалась одною из тех классических пьес драматического репертуара, которые никогда не сходят со сцены и главные роли в которых доставляют первоклассным актерам возможность проявить все свои силы и всю высоту своих талантов.

Конец пятидесятых годов был, таким образом, апогеем развития таланта Писемского, а равно и его литературной славы. Стоя в одном ряду с первоклассными писателями своего времени: Тургеневым, Гончаровым, Достоевским и пр., будучи редактором толстого журнала, считаясь в то время одним из лучших драматургов, он срывал лавры и в качестве прекрасного чтеца, блистая на литературных чтениях и имея доступ в лучшие

великосветские салоны того времени.

Но, вознеся столь высоко, как только мог желать славолюбивый писатель, судьба с такой же быстротой низвергла его с этой высоты, устлала дальнейший путь его массой шипов и терний, из стоявшего впереди века светила обратила его в поборника мрака и застоя и, вооружив против него всю прогрессивную литературу, поставила имя его в один ряд с самыми позорными именами.

Произошло это вследствие того, что, привыкши плыть в неподвижных и сонных водах того общественного затишья, какое предшествовало Крымской войне, Писемский был пловцом, совершенно не приготовленным для борьбы с тем шумным водоворотом, какой закружил все русское общество в эпоху освобождения крестьян. Если писатели вроде Тургенева, философски образованные в западных университетах, не могли вполне ясно и правильно осмыслить весь хаос тех до пестроты разнообразных и противоречивых явлений, какими исполнилась русская земля, то как было не потеряться в этом хаосе Писемскому, учившемуся чему-нибудь и как-нибудь и давно забывшему все университетские веяния. Мы уже видели, как поражали всех, с кем сталкивался Писемский еще в начале пятидесятых годов в Петербурге, его допотопные взгляды, напоминающие, по словам Анненкова, *“строй мыслей прошлого боярства и думных людей Московского царства”*. Можно себе вообразить, какими дикими должны были представляться эти самые архаические взгляды в конце пятидесятых годов, когда все русское общество от малого до старого прониклось ожесточенным протестом именно против всего напоминавшего допетровский, домостроевский строй мыслей. Уже потому Писемский должен был разойтись с новым движением, что, в то время как все мало-мальски вовлеченные в это движение считали себя идеальными людьми в силу одного исповедования новых идей, он по своему неисправимому пессимизму продолжал с обычной откровенной резкостью утверждать, что все люди, каких бы они ни были убеждений, в равной степени подлецы, – и что же ему делать, когда он ни в чьей душе ничего хорошего не видит? Его коробило и возмущало не только то, что массы крупных воров и мелких воришек, хлыщей, шулеров и кокоток сделались прогрессистами и взапуски пустились либеральничать, но и такие непривычные мелочи, что гимназисты осмеливались грубить родителям и безнаказанно курить на улице, а мужиков начали “выкать”. К этому присоединились литературные отношения. Разойдясь с редакцией “Современника” и перейдя в “Библиотеку для чтения”, тем самым Писемский стал в оппозицию к прогрессивному

лагерю тогдашней литературы. Мы видели уже, как холодно начали отзываться о нем в “Современнике”. Обновленная “Библиотека для чтения” по инициативе Дружинина написала на своем знамени “искусство” и начала ратовать против новых отрицателей его. Под влиянием своих журнальных сочленов проникся и Писемский негодованием против мальчишек, непочтительно относившихся к Пушкину и считавших сапоги выше Шекспира. Но на первых порах оппозиция эта, по-видимому, имела довольно умеренный характер. По крайней мере, по свидетельству П.Д. Боборыкина, “у себя дома, в кабинете, в задушевных разговорах, Писемский высказывался скорее в тоне сокрушения и протеста, чем в тоне непримиримой запальчивости. По-своему он был последователен. Люди, возвещающие радикальные принципы, должны были в его глазах быть безукоризненными во всех смыслах, а этого далеко не было. Его наблюдательный и сатирический ум одинаково разоблачал людей противного лагеря и своих ближайших сверстников. Он мог и про приятеля, про человека симпатичного ему по таланту, говорить без всякой поблажки его личным слабостям. Тогдашний руководитель “Современника”, возмущавший его своими новыми идеями, был ему очень мало известен как человек. Но несколько раз он расспрашивал сотрудника, ходившего и в “Современник”: “Какой это человек, хороший ли, действительно ли верит он сам в то, что говорит?”

Судя по этой выдержке из воспоминаний П.Д. Боборыкина, протесты Писемского ограничивались долгое время интимно-кабинетным характером. Но, обостряясь более и более, они наконец прорвались наружу и выплыли на свет Божий при помощи печатного слова. В это время во всех журналах, по примеру “Свистка” и “Современника”, вошло в моду помещать в конце книжек сатирические фельетоны, с одной стороны, ради оживления журнала, а с другой – в полемических целях. Завела свой “балаганчик” и “Библиотека для чтения”. Между прочими фельетонистами выступил в своем журнале и Писемский, в конце 1861 года, под псевдонимом Никиты Безрылова, и первый фельетон его, напечатанный в декабрьской книжке, послужил яблоком раздора, возбудив во всей литературе порядочный переполох.

В фельетоне этом, довольно бессодержательном в целом, поразили всех три места.

Так, обращаясь по случаю праздников и елок к невинному и юному человечеству, Писемский говорит:

“Милые дети!.. Вы живете в счастливое для вашего

возраста время: слышали ли вы, что в воскресных школах разным замарашкам мальчикам и девочкам, по правилам великого педагога и сердцеведа Павлова, говорят “вы”? Что за дело, что эти глупые созданьица вовсе не понимают этой вежливости и даже она их больше пугает и что они гораздо лучше учатся у какого-то крикуна-помещика и полковых унтер-офицеров, чем у самых современных молодых; все эти маленькие противоречия ничего не значат; был бы соблюден закон высокой гуманности. Собственно о вас и говорить нечего: вам, конечно, очень хорошо известно, что вас совершенно уже не будут сечь и если какой-нибудь варвар-родитель, а еще возможнее этого – варварка-родительница вздумает, по своим грубым привычкам, вас посечь, вы можете прибегнуть к благодетельному средству гласности и напечатать о них…”

Далее затем Никита Безрылов обращается к тем же детям с такими словами:

“Та же высокая гуманность, окрестившая всех черномазых мальчишек в “вы” и избавившая вас навсегда от розог, заботится также и о ваших маменьках. У вас, например, Костя Пигасов, папенька строг? – “Строг!” – А у вас, m-lle Marie, тоже? – “Тоже строг”. – И у вас, Петя Жуков? – “О, нет! у меня маман папу иногда целует, а иногда и по щекам бьет”. – Прекрасно: к вашему возрасту, т. е. когда вы сделаетесь мужьями, вы все должны будете походить на папеньку Жукова и, по учению эмансипации, вам предстоят еще некоторые другие подробности, которые вы теперь детским вашим умом и не поймете еще: у вашей супруги будут тогда, во-первых, вы – муж, во-вторых, любимый ею любовник, в-третьих, любовник, который ее любит. В отношении Петербурга в этом праве, вероятно, воспоследуют весьма маленькие изменения: в лице любящего любовника всегда должен быть начальник ее мужа, а в особе любимого любовника – молодой подчиненный, какой-нибудь коллежский секретарь или поручик, более крепкий телом, чем духом”.

Наконец, почти в заключение фельетона он обращается не к детям уже, а ко всем своим читателям:

“Говорят, в видах освобождения петербургских собак

от намордников, будет дан литературный вечер с такого рода объявлением, что “вот-де мы, литераторы, глубоко сознавая до какой степени наши произведения, наши физиономии, наши голоса даже надоели почтеннейшей публике и не желая уже в настоящем случае более испытывать ее великодушного терпения, предложили заявить ей свои новые, не совсем, может быть, ей известные качества. Программа нового литературного вечера будет такова: господа Майков и Дружинин, по своему геркулесовскому телосложению, будут представлять забавы великанов, т. е. кидать трехпудовыми шарами, подымать двенадцатипудовые палицы, останавливать за одно колесо четверку лошадей. Господа Писемский и Аскоченский в самой задушевной между собой беседе будут первоначально предаваться около четверти часа размышлениям, а потом соленым судаком станут подкреплять свои бренные тела, причем по преимуществу г-н Писемский будет с истинным восторгом запивать эту скудную пищу чистой невской водой, кидая взоры презрения на стоящие невдалеке от него ростбиф, устрицы, портер и портвейн. Г-н Панаев, с полнейшим спокойствием джентльмена, будет в присутствии всей публики считать свои, собственно ему принадлежащие, 500 тысяч серебром, а г-н Некрасов, по своей столь глубоко переживаемой любви к бедным и несчастным, будет с наслаждением играть с выгнанным кадетом в свои козыри – и даром. Г-н Гончаров, окруженный племянниками и внучатами, будет первым раздавать деньги, а вторых держать и баловать у себя на коленях, кормить их манной кашей, причем она будет падать ему на брюки, и все это он будет принимать с величайшим наслаждением. С г-на Гербеля будут рисовать портрет Виктора Эммануила. Г-н Никитенко будет читать речь о простоте слога. Г-н Краевский будет своим мелодическим голосом петь романс собственного своего сочинения:

О, сколь душою нежной
Я человечество люблю.

Газета “День”, не желая иметь с петербургскими литераторами ничего общего и в то же время стремясь, в укор северным славянам, представить южного славянина и патриота, намерена переделать повесть Тургенева

“Накануне” в драму и поставить ее на сцену, причем роль Инсарова будет исполнять г-н Пандуров, мужчина далеко не без приятностей для женского пола”.

Вот на этот фельетон Никиты Безрылова и ополчилась прогрессивная печать в лице редакции “Искры”, которая в пятом номере своей газеты за 1862 год поместила грозную филиппику против Никиты Безрылова.

“Общество поморных, – читаем мы в хронике прогресса в вышеозначенном номере “Искры”, – находится в невыразимом огорчении. Никогда еще русское печатное слово не было низводимо до такого позора, до такого поругания, до какого низвела его “Библиотека для чтения”” в декабрьском фельетоне своем прошедшего года. Рука в первый раз являющегося в русской литературе художника, какого-то Никиты Безрылова, на пяти страницах фельетона умела поместить столько грязи, пошлости, тупоумия, что картина в целом вышла вполне отвратительная. Если присовокупить к этому ту бесцеремонную наглость, с которой новый художник насмехается и ругается над всем, что современное общество вырабатывает в себе лучшего в настоящее время, то картина в своем роде составляет верх совершенства. Гнусное ли самолюбие, руководящее пером Никиты Безрылова, тупоумное ли невежество – то и другое требует в настоящем случае беспощадного бичевания.

Мы думаем, что самый жалкий паяц, вынужденный добывать себе насущное пропитание бессмысленным кривляньем перед толпой и шутовской критикой над всем, над чем ни попало, без разбора, лишь бы только возбудить смех толпы, стоящей перед его подмостками, – постыдится смеяться над некоторыми предметами, дорогими во все времена и для всех людей без исключения. Постыдится потому, что и самая невежественная толпа не будет слушать насмешек над подобными предметами иначе как с омерзением; потому, что и сам паяц, как бы он ни был пошл, какими-нибудь корнями да прикрепляется к общественной жизни. Если у него не осталось ни одного чисто человеческого чувства, то осталось, по крайней мере, животное чувство привязанности к своей семье, к отцу, матери, брату, сестре. Во имя одной этой привязанности, с потерею которой, при отсутствии всех других чувств, было бы

вовсе немыслимо никакое существо человеческое, даже существо паяца, он не насмехается над людьми, которые употребляют свои верования, время, труды на устройство судьбы бедняков, подобных ему; которые хлопочут изо всех сил, чтобы воспитать в обществе всеобщее уважение к человеческому достоинству, к человеческой личности, независимо от ее сословного и общественного положения, независимо от ее богатства, бедности, пола, возраста, вообще внешних условий, случайных или мнимых преимуществ; которые, наконец, хотят дать возможность всем людям честно трудиться и жить, открыв всем пути образования и общественной деятельности, уничтожив отсталый взгляд на женщину, существующий во многих классах нашего общества, – взгляд, в силу которого женщина признается каким-то получеловеком, неспособным ни к умственному образованию, ни к самостоятельной деятельности в обществе, семействе, назначенным самой природой быть не более как самкой, служить прихотям мужчины, зависеть от него во всем, одним словом, быть в обществе каким-то жалким паразитом.

Над всеми подобными трудами наших лучших людей в пользу меньших братии, над всеми благородными усилиями лучшего современного общества пересоздать *себя,* поставить свою жизнь на новых, человеческих, разумных началах насмехается новый фельетонист “Библиотеки для чтения”, Никита Безрылов, да еще как самоуверенно насмехается-то! Такого гнусного, такого позорного для человеческого смысла смеха нам не случалось слыхать никогда! Мы понимаем очень хорошо, что человек, наделенный ограниченным умом от природы, закосневший в постоянной лени и беспутстве, может дойти до полного отупения к движению всякой новой мысли, может не понимать самых простых новых начал и воззрений, выработанных путем теории, и по невежеству своему может насмехаться над ними пошло, глупо и вместе с тем, само собою разумеется, все-таки вредно для общественного развития; но мы не можем понять, каким образом даже самый ограниченный человек может дойти до такого отупения, чтобы не только не признавать, но еще позволить себе насмехаться над истинами, для уразумения которых не требуется никаких усилий мысли, в несомненности которых убеждает каждого его

собственное сердце и хотя какое-нибудь уважение к самому себе. Если здесь действительно одно только тупоумие, то это тупоумие беспримерное, далее которого идти положительно невозможно. И новый русский писатель Никита Безрылов по одному этому, если даже не предполагать в нем никакой гнусности, явление в высшей степени замечательное и редкое! Принадлежит ли он, Никита Безрылов, к числу рожденных или как-нибудь случайно попал в человеческое общество? Есть ли в нем человеческое сердце? Шевелилась ли в нем когда-нибудь человеческая мысль, волновало ли его когда-нибудь и какое-нибудь человеческое чувство? Покраснел ли он хоть раз, когда писал свой фельетон, или даже такая капитальная глупость могла пройти через его душу, не возбудив в нем отвращения к самому себе? Все эти вопросы в высшей степени интересуют нас, но еще более, чем личность Никиты Безрылова, интересует нас личность редактора “Библиотеки для чтения”, г-на Писемского. Кто Безрылов? Личность темная, никому не известная, являющаяся в литературе в первый раз, личность, не имеющая никакого значения. Напечатай Никита Безрылов свой фельетон отдельной брошюрой, брошюрки этой никто не знал бы. Но устами Никиты Безрылова говорит целая редакция журнала, во главе которой стоит г-н Писемский.

Писемский! Кто не помнит, сколько когда-то надежд сосредоточивала русская публика на этом имени? С каким сочувствием приветствовала она каждое новое его произведение? С каким доверчивым упорством многие доселе надеются услышать от г-на Писемского *новое слово,* в полном убеждении, что г-н Писемский всею душою предан интересам современного движения русского общества, что его сердце наболело и изныло при виде тех бесчисленных препятствий, какие новые идеи встречают при своем появлении в русском обществе!

А г-н Писемский между тем прехладнокровно, устами такого мудрого мужа, как Никита Безрылов, изрекает анафемы, которым позавидовал бы даже Виктор Ипатьич Аскоченский”.

Делая затем приведенные нами выше выписки из фельетона Никиты Безрылова, фельетонист “Искры” в заключение своей статьи восклицает:

> “Долго мы не хотели верить, чтобы это произведение Никиты Безрылова явилось в “Библиотеке для чтения” с ведома г-на Писемского. Мы полагали, что г-н Писемский не читал его до напечатания (что хотя странно для редактора, но тем не менее иногда возможно, не только по невниманию редактора к своему делу, но и по множеству занятий) и по прочтении не преминет печатно извиниться перед публикой в своем недосмотре и объяснит причины появления такой дикой нелепости в его журнале. Ничего подобного, однако ж, не случилось. Прошло более месяца со времени выхода в свет декабрьской книжки “Библиотеки для чтения”, а г-н Писемский все молчит. Не может быть более никакого сомнения в том, что г-н Писемский разделяет воззрение Никиты Безрылова. Позволим же и мы себе высказать откровенно и бесцеремонно наше мнение по этому делу.
>
> Прошли те времена, когда литературную известность можно было приобретать ловкой фразой, сладким стихом, даже блестящим остроумием, даже уменьем сочинять повести и романы. Ныне всякому, даже и не учившемуся в семинарии, известно, что талант, который не имеет искреннего стремления служить общественному делу, не заслуживает никакого уважения, а талант, употребляющий свои слова на разрушение этого дела, достоин всякого презрения. Это общее убеждение разделяем и мы, – и с настоящего времени имя г-на Писемского в нашем журнале будет неразлучно с именем г-на Аскоченского”.

В январской книжке “Библиотеки для чтения” за 1862 год последовали на эту филиппику два ответа. Один, подписанный именем самого Писемского, гласил:

> “Предоставив фельетонисту “Библиотеки для чтения” ведаться со своими противниками, я все ругательства, помещенные в “Искре” и касающиеся собственно меня и моих убеждений, отдаю на суд публики, которой, смею думать, достаточно уже известны и мои симпатии, и мои антипатии. Как ни слабы мои труды, но моим непотворством ни вправо, ни влево я – понятно – заслужил честное имя, которое не будет вычеркнуто в глазах моих соотечественников взмахом пера каких-то рьяных и неизвестных мне оскорбителей моих”.

Второй ответ, подписанный Никитой Безрыловым, был наполнен ругательствами, не уступавшими по своей резкости и грубости филиппике “Искры”. Так, например, Никита Безрылов объявляет, что он – радикал, а его противники – шарлатаны, докторишки, так как, замазавши у больного то в том, то в другом месте общее расстройство организма, они уверяют его из личной выгоды, что он уже здоров, и далее Никита Безрылов грозится, что к Святой неделе составит проект нового чтения в пользу бездарных фельетонистов, окончательно прогнанных из всех журналов вследствие поднятия умственного уровня литературы, но противников своих и там не поименует, потому что выберет только тех литераторов, заслуги которых литература ценит и уважает.

Но забавнее всего, что после целого потока ожесточенной брани Никита Безрылов заявляет о своем спокойствии, оканчивая фельетон следующими словами:

> “Поняли ли вы наконец меня и чувствуете ли, как я выше вас: я даже не рассердился на вас, чему доказательством мой спокойный тон; а между тем я Бог знает каких эпитетов мог бы надавать вам, сказать, например, что бездарность ваша в высокой степени замечательна, необразование известно всем и каждому, а гражданские добродетели более чем под сомнением; но я этого не говорю, потому что даже и не знаю, кто вы лично такие!”

После этого ответа Писемского издатели “Искры”, В.С. Курочкин и Н.А. Степанов, вызвали его на дуэль, но Писемский наотрез отказался от дуэли.

К несчастью для Писемского, его сторону приняла редакция газеты Стелловского и Гиероглифова “Русский мир”; редакторы затеяли литературный протест против “Искры”, начали собирать подписи и в шестом номере “Русского мира” объявили об этом протесте, прибавив, что, когда лист с подписями находился в редакции “Русского мира”, подписавшихся было до 30, и среди них встречаются имена почти всех лучших представителей русской литературы, редакторов и сотрудников наиболее популярных журналов, “Современника” и пр. Против этого объявления в свою очередь восстала редакция “Современника”, и в седьмом номере “Искры” было напечатано письмо к В.С. Курочкину за подписью всех членов редакции “Современника”: М. Антоновича, Н. Некрасова, И. Панаева, А. Пыпина и Н. Чернышевского, в котором редакция заявляет:

> “Какие подписи лиц, принадлежащих к нашему журналу, могла видеть на этом протесте редакция газеты “Русского мира”, мы не знаем, потому что не видели этого протеста. А не видели мы его потому, что господа собиратели подписей к этому протесту не обращались к нам и с вопросом о том, согласимся ли мы подписать их протест, и в этом случае они поступили очень благоразумно, потому что мы вполне одобряем ту статью “Искры”, против которой, по объяснению редакции “Русского мира”, хотят они протестовать”.

Вся эта прискорбная история произвела на Писемского такое потрясающее впечатление, что, по словам Анненкова, он впал в то состояние изнеможения, какое находило на него при всяких крупных неудачах жизни. Он отказался от поста редактора “Библиотеки для чтения”, разорвал все связи с Петербургом, отказавшись в то же время и от участия в делах литературного фонда, и со всей семьей переселился в начале 1862 года в Москву.

Конечным результатом разрыва с прогрессивным лагерем и со всем движением шестидесятых годов был, как известно, роман “Взбаламученное море”, появившийся в 1863 году на страницах “Русского вестника”. История писания этого романа изложена П.Д. Боборыкиным в его воспоминаниях следующим образом:

> “Поездка за границу, на лондонскую выставку, знакомство с русскими эмигрантами, разные случаи, анекдоты, несколько курьезных типов тогдашних пропагандистов закрепили в Писемском желание набросать широкую картину взбаламученного русского общества. Он приступил к этому труду вполне искренне; я в этом нисколько не сомневаюсь. Помню, в сентябре 1862 года Писемский доканчивал, кажется, первую часть или, во всяком случае, писал ее: он повторял все, что для него этот роман – дело душевной потребности, хотя он наперед знает, что его предадут проклятию в тогдашней передовой журналистике. Он не остановился перед соображением, что и фотографический снимок с разных курьезов пропаганды и радикализма будет все-таки рискованным поступком, рискованным не в смысле только личной репутации, а просто как скороспелое обобщение. Писал он свой роман очень горячо и скоро. Процесс писанья был такой, сколько помню: сначала черновой набросок, иногда даже карандашом; этот набросок переписывался тотчас же, и к нему делались

прибавления, иногда приклеивались целые листы, и только уже третья редакция представляла собою настоящий текст. Весь конец 1862 года пошел на эту работу. В доказательство того, что Писемский не считался тогда и в “Современнике” реакционным романистом, я приведу следующий случай. Один из членов редакции “Современника” приезжал к Писемскому за несколько минут до моего прихода начать переговоры о романе. Первые две части я слышал в чтении самого автора, у него на вечерах, и тогда по содержанию их нельзя было видеть, что роман выйдет весьма неприятный для молодежи”.

П.Д. Боборыкин, очевидно, запамятовал годы представляемых им фактов. Не мог Писемский в конце 1862 года ни читать на своих вечерах первые две части своего нового романа, ни вступать в какие-либо переговоры с редакцией “Современника” (это после протеста-то!), так как он в это время был уже в Москве! Но совсем в другом виде представится дело, если мы на один только год передвинем назад то, о чем говорит П.Д. Боборыкин. В конце 1861 года у Писемского могли быть уже готовы первые части романа; он их читал на своих вечерах, и слухи о них могли дойти до редакции “Современника”. Хотя и в то время отношения редакции с Писемским были уже несколько натянуты, но не до такой еще степени, чтобы немыслимо было начать переговоры о печатании романа, и к тому же Писемский не подавал еще повода видеть в нем непримиримого реакционера, каким он проявил себя не в конце, а в самом начале 1862 года.

В этом убеждает нас и та поразительная разница, какая существует между первыми тремя частями романа и последующими.

В первых трех частях мы видим всё того же Писемского, каким мы его знаем во всех предыдущих его произведениях. Исключая два-три места, части эти без малейшей натяжки и дисгармонии могли бы быть напечатаны в “Современнике”. Вторая же половина, очевидно, написана уже в 1862 году, под свежим впечатлением происшедшего разрыва: она не только вписывается в рамки реакционного направления, но преисполнена крайнего негодования и озлобления.

В общем роман производит мрачное впечатление безысходного отчаяния. Если все предыдущие произведения Писемского были преисполнены пессимизма, то можно представить себе, до каких геркулесовых столбов дорос этот пессимизм под влиянием того погрома, который пережил

Писемский во время писания романа. Все русское общество уподобляется в романе безотрадному морю, на поверхности которого замечается много радужных отливов; в глубине же таится страшная бездна, кишащая самыми отвратительными чудовищами, бескровными рыбами и мерзкими улитками, приросшими к камням, покрытым скользкою вонючею тиной. Мы уже знаем, в каком безобразном виде представляет Писемский народ (отупелым, спившимся, приходящим в зверское неистовство под влиянием отравленной водки и беспрестанно вследствие этого попадающим на каторгу). Интеллигенция рисуется им еще более мрачными и ужасающими красками.

Так, героя романа, Бакланова, Писемский характеризует следующим образом:

> “Герой мой, во-первых, не герой, а обыкновенный смертный из нашей так называемой образованной среды. Он праздно вырос, недурно поучился, поступил по протекции на службу, благородно и лениво послужил, выгодно женился, совершенно не умел распоряжаться своими делами и больше мечтал, как бы пошалить, порезвиться и поприятней провести время. Он – представитель того разряда людей, которые до 55-го года замирали от восторга в итальянской опере и считали, что это высшая точка человеческого назначения на земле, а потом сейчас же стали с увлечением и верою школьников читать потихоньку “Колокол”. Внутри, в душе, у этих господ нет, я думаю, никакого самоделания; но зато натираться чем вам угодно снаружи – величайшая способность!”

Бакланов, таким образом, олицетворяет людей, развивавшихся на почве жизни даровой, праздной и бессодержательной. Исполненный в то же время тщеславия, он на гимназической скамье привык уже корчить из себя картинного героя в духе Марлинского. Пожавши под столом ручку кузине, он уже хвастается своему товарищу, Венявину:

> “– А было, что я стал к ней в такие отношения, при которых уже пятиться нельзя! – прибавил он с расстановкой.
>
> Венявин даже побледнел.
>
> – Как так?
>
> – Так!
>
> И Александр еще дальше закинул голову назад.
>
> – Она была, – продолжал он, закрывая глаза, –

грустна, как падший ангел… Только и молила: “Что вы, что вы со мною делаете?…” Но я был бешеный, – прибавил он, сжимая кулаки”.

Когда потом “падший ангел” пококетничал немного с флигель-адъютантом, Бакланов воспылал ревностью и, уезжая в Москву, в университет, трагически проговорил: “Если не нашел в прекрасном, так найду в дурном!..”

И картинный геройчик предался студенческим пирушкам и скандалам, воображая, что он топит в этом времяпровождении свою бурную страсть.

Таким же негодяем является затем он и в жизни: жалок и гадок он и тогда, когда силою растлевает в своем имении крестьянскую девушку и когда стыдится ехать со своей матерью, и когда в припадке ревности к Софи Леневой швыряет стулья и подсвечники в ее доме, и когда женится на Евпраксии из одного сластолюбивого любопытства, что за существо эта девушка и как она будет любить? Жалок и гадок он и в ночной омерзительной сцене с Казимирой, и в своей поездке с Софи Леневой в Петербург тайком от жены. Во всем этом вы видите бесхарактерного, пошлого селадона, растленного до мозга костей.

Не уступает в своей дрянности Бакланову и героиня романа, Софи Ленева. Родившись в бедном дворянском семействе, Софи вынесла из детства одну жажду – выбиться из подавляющей бедности какими бы то ни было средствами, для того чтобы жить вволюшку, чтобы роскошью и блеском затмить всех окружающих. Для этого она готова продавать себя на каждом шагу; так, сначала продалась она мужу, старому, изжившему, зато богатому помещику, затем – откупщику. Сколотивши деньжонки ценою своей красоты, она поехала за границу транжирить даром доставшиеся капиталы и менять в каждом городе любовников, пока наконец за долги не попала в лондонское клиши [6].

Далее вы видите мрачную агонию старорусской семейной жизни в семье Басардиных. Печальна судьба Надежды Павловны Басардиной, вышедшей замуж за полуидиота, чтоб только уйти куда-нибудь, чтобы избавиться от монотонной, затхлой, невыносимой жизни в доме сестры. А все эти семейные хлопоты и дрязги, гонка за богатыми тетушками, выпрашиванье тепленьких местечек, чтобы как-нибудь поправить финансы и устроить семью, – разве все это не наводит на вас тяжелую, свинцовую тоску? Особенно мрачное впечатление производит молодой Басардин – эта жертва корпусного воспитания, – колотящий будочников по зубам, обедающий даром в трактирах, жадный к деньгам, чувственный и низкий. Но и кроме Басардина перед

вами целый омут циников и идиотов, блудников и блудниц, администраторов и откупщиков, совершающих под прикрытием власти и денег уголовные преступления, от которых волосы могут встать дыбом. Чего стоит один тип Ионы-циника, достойный пера Гоголя, так и просящийся в “Мертвые души”.

Одним словом, нарисованная картина – безусловное отрицание Писемским всей нашей прошлой, дореформенной жизни. Но, отрицая прошлое, Писемский отрицает вместе с тем и все то движение, которое пережило наше общество.

“Не мы виноваты, – оправдывается он в своем пессимизме, – что в быту нашем много грубости и чувственности, что так называемая образованная среда привыкла говорить фразы, привыкла или ничего не делать, или делать вздор, что, не ценя и не прислушиваясь к нашей главной'народной силе – здравому смыслу, она кидается на первый фосфорический свет, где бы и откуда ни мелькнул он, и детски верит, что в нем вся сила и спасение.

В начале нашего труда, при раздававшемся около нас со всех сторон говоре, шуме и треске, ясное предчувствие говорило нам, что это не буря, а только рябь и пузыри, отчасти надутые извне, а отчасти появившиеся от поднявшейся снизу разной дряни. События как нельзя лучше оправдывали наши ожидания”.

А в другом месте он проводит ту же мысль еще яснее, влагая ее в уста одного из своих героев – Веригина.

> “– Неужели же во всем последнем движении вы не признаете никакого смысла? – спросил Бакланов.
>
> Веригин усмехнулся.
>
> – Никакого!.. Одно только обезьянство, игра в обедню, как дети вон играют.
>
> – Хороша игра в обедню, за которую в крепость попадают, – сказал Бакланов.
>
> – Очень жаль этих господ в их положении, – возразил Веригин, – тем более что, говоря откровенно, они – плоть от плоти нашей, кость от костей наших. То, что мы делали крадучись, чему потихоньку симпатизировали, они возвели в принцип, в систему; это наши собственные семена, только что распустившиеся в букет.
>
> – Если под движением разуметь, – начал Юрасов, – собственно революционное движение, так оно, конечно, бессмыслица, но движение – в смысле реформ!..
>
> Веригин придал какое-то странное выражение своему лицу”.

Сообразно тому, что все движение кажется Писемскому не чем иным, как распустившимися семенами прежних мерзостей (по пословице яблоко от яблони падает недалеко), он всю соль своей сатиры основал на том, что представителями движения в своем романе сделал тех самых личностей, которые в столь мрачном виде рисуются у него в первых трех частях романа, изображающих дореформенную жизнь. Читая роман, можно подумать, что все движение только в том и заключалось, что Баклановы, Софи Леневы, Басардины, Галкины и пр., и пр. внезапно сорвались с цепи и сделались ярыми радикалами, оставаясь всё теми же негодяями и уродами, какими были и прежде, и ничего сколько-нибудь светлого, отрадного и обновляющего движение не принесло, ни одной личности не выдвинуло сколько-нибудь почтенной и достойной уважения.

Понятно после этого, что роман Писемского был встречен общим негодованием почти всей прессы. На Писемского восстали не одни критики прогрессивных органов в лице М.А. Антоновича в “Современнике” и Зайцева в “Русском слове”, но и умеренные, полуконсервативные “Отечественные записки” не могли не увидеть во “Взбаламученном море” нелепого пасквиля на молодое поколение. Одним словом, Писемский вооружил против себя людей самых противоположных взглядов и никому не угодил. Но всего более покоробило в романе Писемского всех благомыслящих людей то обстоятельство, что писатель, способный создавать такие чисто гоголевские типы, как Иона-циник, унизился до грубого шаржа, выставив ряд безобразных карикатур, в которых под прозрачными псевдонимами легко было узнать общеизвестных личностей, парадировавших [7] в то время на арене общественной жизни. В одном этом обнаруживался уже упадок таланта.

ГЛАВА VI

Последний, московский, период жизни Писемского. – Его материальное положение. – Произведения этого периода. – Упадок таланта и популярности. – Болезни. – Юбилей – двадцатипятилетие литературной деятельности Писемского. – Участие в празднествах по случаю открытия памятника Пушкину. – Смерть. – Мнение П.В. Анненкова о Писемском как человеке и писателе

С переездом Писемского в 1863 году в Москву начинается новый и последний период его жизни. Первоначально Писемский пристроился к “Русскому вестнику”, приняв руководство беллетристическим отделом журнала. В 1866 же году он поступил по протекции министра внутренних дел П.А. Валуева в советники губернского правления. Вообще в материальном отношении в этот период жизни Писемский был так обеспечен, как никогда прежде, и достиг, по-видимому, того, чего добивался всю жизнь. Литературный труд его теперь оплачивался очень дорого, по 250 рублей за лист, вследствие чего за свои романы он получал довольно крупные куши, тысяч в двенадцать, в десять. За комедию “Финансовый гений” “Газета Гатцука” заплатила ему тысячу рублей. При таких условиях, будучи природным скопидомом, Писемский настолько со временем округлил свое состояние, что смог оставить редакторские обязанности в “Русском вестнике”, а в 1873 году и службу. В конце шестидесятых годов в Москве, в Борисоглебском переулке на Поварской, Писемский купил небольшой клочок земли, под собственным наблюдением обстроил его чистыми наемными помещениями и, замечательно использовав пространство своих владений, построил для себя на дворе особый флигель с садиком, отделав его для спокойной трудовой жизни очень тщательно.

Казалось, ничто не препятствовало Писемскому спокойно, мирно и счастливо доживать в своей семье последние годы своего существования. Тем не менее, этот последний период был самым мрачным во всей его жизни, и под личиной внешнего благосостояния таилось много горя и душевных страданий.

Начать с того, что в литературной деятельности Писемского после “Взбаламученного моря” и “Лгунов” (напечатанных в “Отечественных записках” в 1864 году), последовал резкий перелом, и, достигнув в вышеозначенных произведениях предельного развития своего творчества, Писемский с поразительной быстротой покатился вниз. По крайней мере все последующие произведения, появившиеся позже 1864 года, целою

пропастью отделяются от предыдущих; в них и следа нет прежнего Писемского, и все они обнаруживают такой значительный упадок таланта, подобного которому вы не найдете в русской литературе.

Таковы были, во-первых, напечатанные во “Всемирном труде” М.А. Хана в 1867 и 1868 годах три трагедии Писемского: “Самоуправцы”, “Бывые соколы” и “Поручик Гладков”. В 1869 году в “Заре” печатался роман “Люди сороковых годов”, известный нам по тем автобиографическим материалам, которые мы из него извлекли. В 1871 году в “Беседе” появился роман “В водовороте”.

Затем Писемский написал ряд комедий-памфлетов, в которых он клеймил язву того времени – различного рода финансовых тузов: концессионеров, директоров банков и акционерных предприятий, биржевых игроков, червонных валетов и т. п. Таковы созданные в период с 1873 по 1876 год комедии его “Подкопы”, “Ваал”, “Просвещенное время” и “Финансовый гений”. Писемский большое значение придавал этим своим произведениям. Так, в одном письме он, между прочим, говорит:

> “Сначала я обличал глупость, предрассудочность, невежество, смеялся над детским романтизмом и пустозвонными фразами, боролся против крепостного права, преследовал чиновничьи злоупотребления, обрисовывал цветки нашего нигилизма, которого теперь уж созревают плоды, и в конце концов принялся за сильнейшего, может быть, врага человеческого, за *Ваала и за поклонение золотому тельцу,* и только в прошлом году был глубоко утешен тем, что мещане и купцы (что под этими кличками я разумею – вы уясните себе из романа моего “Мещане”) отодвинуты на задний план и в массе случаев опозорены. Открылось воочию всех, что мошенничества разных предпринимателей и поставщиков колоссальны, что торговля идет на постыднейшем обмане; банковские воровства чуть не каждодневно совершались и совершаются, и под всею этою мерзостью, как чистые ангелы, воссияли наши солдаты и офицеры, – но довольно. Всего не перескажешь, что кипит и волнуется в моей уж, кажется, старческой душе”.

Подобное высокое мнение о своих обличительных комедиях Писемский составил, конечно, под живым впечатлением сценического успеха их. Он отмечал, что публика, помимо аплодисментов, словесно благодарит его за то, что он “хоть на

сцене по крайней мере казнит этих негодяев, до которых суду еще долго не добраться”.

Но успех этот был крайне относителен и эфемерен и основывался исключительно на сенсационном представлении на сцене в грубом шарже личностей, в которых публика узнавала знакомых ей деятелей финансового мира. Поэтому пьесы Писемского не могли долго держаться на сцене, скоро теряя интерес дня. Как ничтожно в то же время было их художественное значение, можно судить по тому, что даже дружественный Писемскому журнал “Русский вестник” не решился напечатать его пьесу “Финансовый гений” на своих страницах, о чем Писемский сообщает в письме к П.В. Анненкову:

> “Через Тургенева я вчера послал вам экземпляр моей новой пьески, именуемой “Финансовый гений”, которую, как вы увидите, я напечатал в маленькой газетке Гатцуга вследствие того, что с этой пьеской произошел странный случай. Я отправил ее в “Русский вестник” как в единственный журнал, с которым у меня сохранились некоторые отношения, но, увы! и там из разных, как мне говорили, новых сотрудников образовалась враждебная мне партия, которая поспешила мне возвратить мою рукопись, за негодностью к напечатанию”.

После падения “Финансового гения”, который едва выдержал три представления, Писемский снова принялся за романы и в последние четыре года своей жизни написал их два – “Мещане” и “Масоны”.

Оба эти романа были так бесцветны, вялы и скучны, что даже И.С. Тургенев, отзывавшийся о последних произведениях Писемского крайне снисходительно и всячески старавшийся ободрить его, писал ему после чтения “Мещан”:

> “Чтение “Мещан” доставило мне много удовольствия, хотя, конечно, поставить этот роман на одну высоту с “Тысячью душ”, “Взбаламученным морем” и другими вашими крупными вещами нельзя; но вы сохранили ту силу, жизненность и правдивость, которые особенно свойственны вам и составляют вашу литературную физиономию. Виден мастер, хотя и несколько усталый, думая о котором, все еще хочется повторить: “Вы, нынешние, нутка [8]!”

Писемский отвечал ему на это: “Касательно романа вы совершенно справедливо сказали: я действительно устал писать, а

еще более этого – жить, тем более что хоть, конечно, старость не радость для всех, но у меня она особенно уже нехороша и исполнена таких мрачных страданий, каких не желал бы я и злейшему врагу своему".

И эти слова не были фразой, вырвавшейся в минуту случайного сокрушения. Писемский выразил здесь вполне рельефно то душевное состояние, которое не покидало его в продолжение всего периода его московской жизни. Внешне обеспеченный, по наружности счастливый человек, на самом деле он ежеминутно чувствовал себя глубоко несчастным. Потеря популярности, этого жизненного эликсира, который один только может поддержать энергию писателя и составляет все утешение жизни его, была червяком, который вечно глодал его сердце и, не давая ему ни минуты покоя, подтачивал его силы. Тщетно старались ободрить его друзья; тщетно и сам он старался утешить себя призрачным успехом своих последних произведений. Не мог не чувствовать он упадка своих сил и угасания творческой энергии, не мог быть нечувствительным и к отзывам прессы, которая с каждым новым произведением его становилась все безжалостнее и, можно сказать, заживо отпевала его. Напрасно старался он относиться к своим зоилам с гордым презрением, обзывая их "разными газетными и общественными гадинами" и утешая себя тем, что "в нашей критике, почти исключительно захваченной за последние пятнадцать лет газетами, царит хаос или, точнее сказать, безобразие, так что даже масса публики, далеко не разборчивая, не читает критических статей и не верит им, потому что все мнения их авторов или писцов или тенденциозны, или невежественны, а в некоторых случаях и продажны". Здравый смысл не мог не подсказать Писемскому, что если даже считать всех критиков его поголовно людьми самыми низкими и ничтожными, то обычное свойство таких людей – пресмыкаться перед силою, пока она в полном расцвете, и тем яростнее нападать на нее, чем очевиднее ее падение.

И действительно, рука об руку с недовольством людьми шло у Писемского недовольство и самим собою. "Мы встретились, – рассказывает г-н Авсеенко в своих воспоминаниях о Писемском, – в первый раз в 1869 году. Алексей Феофилактович тогда только что окончил самый большой свой роман – "Люди сороковых годов" – и приехал в Петербург сильно усталый, больной и отчасти, кажется, недовольный собою. Он знал, что превосходно удавшиеся второстепенные лица романа не выкупают бедности центрального лица, к судьбе которого автор приурочил много автобиографического. "Истомился, шестьдесят листов ведь написал", – жаловался он сам. "Да и вообще устал, – говорил он в

тот же вечер, – ведь я, шутка сказать, уже восемьсот лиц вывел в своих романах и повестях, и все дрянь какую”.

В этих обстоятельствах и без того уже расположенный к хандре и мнительности Писемский с каждым годом становился мрачнее. “Я окончательно делаюсь мучеником моей хандры”, – писал он Анненкову в августе 1875 года. “Ипохондрическое настроение, – жалуется он в начале 1871 года г-же Бларамберг, – владеет мною вполне: ко всякой умственной работе полнейшее отвращение, к письменному столу подойти нет сил”.

“Физически я здоров, – сообщает он около того же времени Тургеневу, – но никак нельзя этого сказать про мою умственную и нравственную сторону: ипохондрия мучит меня невыносимейшим образом. Не только что не могу писать, но даже от всякого хоть сколько-нибудь умственного занятия чувствую полнейшее отвращение, так что написать настоящее письмо для меня уже сильный труд, который одолеть я мог не ранее, как в три дня. Слава Богу, что все более и более раскрывающееся во мне религиозное чувство еще дает некоторое успокоение и подкрепление моей страдающей душе”.

В марте 1878 года Писемский снова жалуется Тургеневу: “Под какими тягостями и скорбями живем мы, и выразить не могу. Каждодневно и на каждом шагу только и приходится слышать: умер, умер, умер. Один Московский университет потерял четырех профессоров. Актеры тоже мрут, и, между прочим, Шумский, но зато процветают газетчики, всякого рода подрядчики и поставщики, и контористы”. И далее Писемский говорит о себе: “Мне, по моему душевному настроению, чем хуже, тем лучше. Упадок сил у меня такой, что я едва совладал, чтобы написать это, кажись, недлинное письмецо”.

Особенно же увеличилась хандра Писемского после того, как над ним неожиданно разразилась страшная катастрофа. Младший сын его, Николай, замечательно умный, благородный и подававший большие надежды молодой человек, только что блистательно кончивший университетский курс и уехавший в Петербург, где у него было уже место, внезапно покончил жизнь самоубийством, причины которого остались невыясненными. “Удар, – по словам П.В. Анненкова, – для Писемского-отца был сокрушительный в полном смысле слова. По свидетельству домашних, он уже никогда до самой смерти не поправился после него. Со смертию сына наступила та полоса кажущейся, призрачной жизни, которая имеет подобие действительной, настоящей, будучи в сущности только свидетельством ее отсутствия. Она тянулась довольно долго для Писемского благодаря попечительной руке, находившейся возле него. Рука

эта потрудилась ввести опять Писемского в колею вседневной, обыкновенной, будничной жизни, которая на душевнобольных действует более спасительно, чем обыкновенно думают. По милости обязательных распорядков такой жизни Писемский возвратился опять к свету, к своим знакомым, по временам к юмористическому настроению и даже к мечтам и затеям своей фантазии, которые составляли вторую природу его; но все это уже производилось без увлечения, без пыла и страсти. В последнее время Писемский походил на бледную копию с эффектного или с содержательного оригинала. Душевная рана со всеми мыслями, которые она пробуждала, никогда уже не закрывалась и медленно, но постоянно разливала отраву по всему существу его".

Нет ничего удивительного, что под влиянием беспрерывной хандры от природы здоровый, можно сказать, железный организм Писемского с каждым годом начал все более и более хилеть. Наступила преждевременная дряхлость. Главным последствием ипохондрии и затем в свою очередь причиною массы недугов стали запои, которым Писемский подвергался с каждым годом все более и более, особенно же после смерти сына. "В позднейших наших встречах, – рассказывает Анненков, – я замечал год от году все большую перемену в Писемском. Он заметно отяжелел и осунулся, а красивое лицо с крупными умными чертами, его отличавшими, приобретало все более и более болезненное выражение. Он ничем не страдал, но жаловался на утрату сил. Помню, что однажды он зашел ко мне по дороге к месту служения, в форменном своем вицмундире, и на замечание, что привольная московская жизнь кончается обыкновенно протестом всего организма нашего, отвечал печально: "Это имеет смысл, по крайней мере, а вот я, вставая утром с постели, уже чувствую без всякого повода усталость во всем существе". Нетрудно было угадать, что первый серьезный недуг или первое серьезное несчастие сломит этот организм, надорванный уже мыслью и постоянным беспокойным состоянием духа, несмотря на внешний, крепкий состав его, обманывавший всех, кто видел Писемского".

Покинув службу в 1872 году, Писемский ежегодно летом отправлялся за границу для свидания со старшим сыном, который готовился в Геттингене, по поручению Московского университета, к занятию места адъюнкта по кафедре права, а равно и для поправления здоровья. Два лета сряду (1874–1875) встречал Писемского в Бадене Анненков, и с первого же раза поразил его вид разрушения, произведенного в Писемском горем и временем. Писемский, по словам Анненкова, походил на руину. "Грустно

было видеть, – говорит он, – как все существо его приходило в трепет от воображаемых близко грядущих бедствий и искало спасения вокруг себя с покорностью и беспомощностью ребенка. Мир был уже населен для него одними страхами, предчувствиями бедствий, грозными событиями, которые при всяком случае возникали в его уме, облекаясь плотию, и стояли, как живые, да еще и во всеоружии, придуманном для них болезненным воображением страдальца. Так, однажды, ожидая прибытия в Баден сына, замедлившего почему-то свой отъезд из Геттингена, Писемский пришел в отчаяние. Он создал полную картину крушения железнодорожного поезда, на котором, по его же соображениям, должен был находиться несчастный молодой человек, и умолял всех встречных справиться о месте катастрофы и о том, куда следует направиться, чтобы подобрать труп погибшего. Никакие объяснения и представления на него не действовали; он метался целую ночь и весь день в страшной тоске до тех пор, пока не явился налицо сам оплакиваемый сын. Надо сказать, что как сын, так и жена Писемского знали вообще, как обращаться с фантазиями больного. Будущий адъюнкт-профессор, например, очень серьезно выслушивал предостережения отца относительно осторожного перехода через улицу, осмотрительности в выборе лошадей и извозчичьего экипажа и т. д. и без улыбки принимал все его советы подобного же рода. Когда ценой таких уступок и попечений покупались минуты душевного спокойствия для Писемского, он становился прежним добродушным и остроумным юмористом: анекдоты старого времени, воспоминания молодости казались неиссякаемыми; жилка комика пробуждалась из летаргии и сказывалась в противопоставлении характеров, им встреченных, одного другому, и т. д. Впрочем, оживление продолжалось обыкновенно недолго, а к концу жизни все эти остатки бывалой веселости все более и более смолкали”.

Как оазисы в пустыне, выпадали на долю Писемского в эту эпоху его жизни и светлые впечатления, которые на некоторое время рассеивали его сплин. Такое впечатление доставил Писемскому немецкий перевод “Тысячи душ” д-ра Кайслера. Тургенев поспешил обрадовать Писемского по этому поводу следующим письмом от 9 октября 1869 года:

> “Передо мною на столе лежит немецкий перевод ваших “Тысячи душ”, изданный в Берлине, в двух довольно изящных томиках. Вероятно, это вам небезызвестно; но что, может быть, еще не дошло до вас – это то, что ваш роман имеет очень значительный успех

> в Берлине и вообще в немецкой публике – и что, вероятно, дело на этом не остановится. Я заглянул в перевод: кажется, хорошо и верно; переводчик (некто д-р Кайслер) почел за нужное кое-что выкинуть, ну, да Бог с ним! Вот и вы шагнули через границы своей родины, и Alexis Pisemsky “станет именем знакомым европейскому уху”.

“Лучший критик берлинский Френцель, – читаем мы в следующем письме, – в № 501 “National Zeitung” посвятил вам целую статью, где называет ваш роман – “редким явлением”, я вам говорю, вы теперь в Германии – известность”.

После присылки Писемскому статьи Френцеля и пяти отрывков из разных газет, расхваливавших роман его, в одном из последующих писем Тургенев писал:

> “Успех ваших “Тысячи душ” весьма поощряет Кайслера к предприятию перевода “Взбаламученное море”. Душевно радуюсь всему этому, во-первых, за вас и, во-вторых, за русскую литературу вообще. Стало быть, в нас что-то есть, коли немцы, вообще нас недолюбливающие и не доверяющие нам, нас переводят. Отзывы немецкой критики о “Тысяче душ” – все без изъятия самые благоприятные; ваши лица находят достойными Диккенса, Теккерея”, и т. д.

Но более всего обрадовал Писемского тот факт, что Юлиан Шмидт в “Zeitgenossensche Bilder” удостоил его целой статьи, в одном ряду с первоклассными европейскими писателями. Под впечатлением этой чести и по совету Тургенева Писемский, в бытность свою в Берлине в 1875 году, посетил Юлиана Шмидта, чтобы лично поблагодарить его за лестный отзыв. Визит, однако, превратился почти в пантомиму, так как ни хозяин, ни гость не имели возможности произвести достодолжный обмен мыслей, и горько жаловался Писемский, описывая это неудачное свидание Тургеневу, на свое “полнейшее неведение иностранных языков”.

Еще более радостным событием последнего периода жизни Писемского, относящимся к тому же 1875 году, стало празднование двадцатипятилетнего юбилея его литературной деятельности. “В обществе любителей русской словесности, – сообщает он Тургеневу, – как я ни отбояривался, как ни приводил тысячи резонов, однако положили в нынешнем январе праздновать мой двадцатипятилетний юбилей. Все это, разумеется, на бедную седую голову, не чаявшую никаких себе чествований, со стороны петербургской журналистики вызвало

целое море брани и оскорблений, но отказаться не было возможности, потому что это значило обидеть”.

Празднование состоялось 19 января 1875 года. Заседание общества любителей российской словесности, посвященное этому торжеству, открылось в начале второго часа пополудни в университетской библиотеке. Число желавших присутствовать на этом собрании было так велико, что, по выражению С.А. Юрьева, если б можно было увеличить вдвое, втрое размеры залы университетской библиотеки, то и тогда пришлось бы многим отказать в выдаче входных билетов. Юбилейные речи говорили Иловайский, Алмазов и Юрьев, причем речь И.А. Юрьева произвела наиболее сильное впечатление на все собрание. Считаем нелишним передать ее в кратком изложении “С.-Петербургских ведомостей”:

> “Жизнь общества выражается в его литературе, представителем которой является писатель. В нашем народе родятся таланты, и они живут не бесцельно: в них народ воплощает самого себя и видит свой образ в творениях своих избранников, посредством которых доходит до самопознания. То, что для народа будет *самопознанием,* то для общества будет *сознанием:* в произведениях своих писателей оно видит себя и сознает себя. Литература – это общественное богатство, пред которым ничто – все сокровища мира; отнимите у общества литературу – и оно со всеми его капиталами, железными дорогами, чиновничьим тщеславием и т. п. останется нищим: у него не будет самосознания, той высшей славы, этого благоразумного и человеческого существования людей. В дорогой плеяде наших писателей, способствовавших общественному сознанию, стоит А.Ф. Писемский. В его произведениях вообще и драматических в частности отразился дух нашего времени, болезненные симптомы которого заставляют содрогаться всякое благородное сердце. С одной стороны, это страшный недуг, подобно злой эпидемии охвативший собой все наше общество, – алчность к наживе, деньгам и материальным благам в самом широком смысле этого слова, а с другой, – чудовищный упадок общественной нравственности, отрицание самых священных начал человеческой жизни и легкость частных и общественных отношений. Красноречивыми аргументами такой египетской проказы служат “Ваал” и “Подкопы”. Но писатель, помимо отрицательных сторон,

должен представить и положительные стороны жизни, без которых произведения его, какое бы высокое художественное значение они ни имели, будут лишены права на признание в нем полного выражения современной жизни; писатель должен показать идеал, который он носит в своей душе. Какой же идеал у Писемского? Он изображает только одни аномалии, язвы и безобразия. Но отсюда никак не следует, что писатель не имеет идеала. Чем яснее идеал у писателя, тем выше выступают все противоречия и уклонения и тем настоятельнее и энергичнее является в писателе преследование тех противоречий: он осветит их светом своего идеала, и перед ним еще ярче и безобразнее восстанут эти чудовища жизни".

Писемский, со своей стороны, отвечал на все сделанные ему приветствия:

> "Милостивые государыни и милостивые государи! Благодарю за ваше приветствие. Волнующие меня в настоящую минуту чувствования мешают мне высказать то, что хотелось бы сказать. Ограничусь немногими словами. Пройденный мною двадцатипятилетний литературный путь, как и путь товарищей моих по делу, был нелегок. Сознавая всю слабость и недостаточность трудов моих, я считаю себя вправе сказать только то, что я никогда в них не становился ни под чье чужое знамя, худо ли, хорошо ли, но всегда писал то, что думал и чувствовал, и ни для каких внешних и суетных целей не ломал и не насиловал моего понимания людей и событий и маленьких авторских способностей, которые даны мне от природы. Единственной путеводной звездой во всех трудах моих было желание сказать моей стране, по крайнему разумению хотя, может быть, и несколько суровую, но все-таки *правду* про нее самоё. Насколько я успевал в этом случае – не мое дело судить".

После чтения речей начались разные приветствия. Краткий адрес петербургских литераторов был подписан двадцатью семью лицами: Бильбасовым, Загуляевым, Костомаровым, Краевским, С. Максимовичем, О. Миллером, А. Потехиным, Я. Полонским, Черняевым и другими. Он заканчивается пожеланием, чтобы талант Писемского продолжал "служить общему делу с присущей ему правдивостью и силой, не тревожась случайными и преходящими недоразумениями".

Под телеграммой петербургских литераторов подписались Барсуков, Бычков, Белов, Гончаров, Достоевский, Кашпирев, Ап. Майков, Л. Майков, Мещерский, Полонский, Подгорицкий, Пуцыкович, Прахов, Филиппов, Страхов.

Кроме того, были получены телеграммы от Щебальского, И.А. Гончарова и И.С. Тургенева.

Последний год жизни Писемского был ознаменован его участием в московских празднествах по случаю открытия памятника Пушкину.

“Писемский, – свидетельствует об этом г-н Н-в в своих воспоминаниях в “Стране”, – участвовал в публичных лекциях общества любителей русской словесности, был вообще в духе и отпускал свои характерные остроты. Так, по поводу сильных хлопот, которыми были заняты распорядители пушкинского праздника, об одном из этих распорядителей, действительно выбивавшемся из сил, А.Ф. рассказывал: “Ю. до того растерялся, что ему скажешь “здравствуйте” – а он обругается; подашь ему руку, а он подаст тебе черт знает что!” Вообще во время этих праздников Писемский был очень оживлен и остроумен, несмотря на то, что перед этим он был болен. Но это было уже последнее оживление”.

Еще за месяц до открытия памятника Писемский писал французскому переводчику своих произведений, Дерели:

> “К великому огорчению моему, я, по моим недугам, не могу принять особенно энергическое участие в смысле внешних распоряжений по торжеству, но во всяком случае приду на него с сердцем, исполненным радости, и с благоговением преклонюсь пред статуей моего великого учителя, произведениями которого я еще с четырнадцатилетнего возраста питался, как манной небесной”.

Восторженное настроение это росло по мере приближения торжества. “Собственно я, – писал Писемский г-же Бларамберг, – лично весь поглощен предстоящим празднованием открытия памятника Пушкину. Это, положа руку на сердце, могу я сказать, *мой праздник,* и такой уже для меня больше в жизни не повторится”.

Но во время торжеств энергия Писемского истощилась. “На одном из заседаний, – по словам Анненкова, – этого замечательного как по характеру, так и по сущности своей юбилейного торжества Писемский довольно вяло прочел свою речь о поэте, которого обожал как великого реалиста, открывшего в душе и нравственных сторонах русского человека еще

неподозреваемые сокровища чувства и своеобычного ума". Речь его не имела успеха, будучи лишена блестящей аргументации, каковая требуется от публичного слова, но ее выслушали с уважением к месту и авторитету оратора. Затем Писемский уже не принимал участия в пиршествах и собраниях, сопровождавших открытие памятника Пушкину.

Конец жизни Писемского омрачился новым несчастьем: безнадежной болезнью второго сына, Павла, читавшего в Московском университете гражданское судопроизводство. Эта катастрофа окончательно надломила силы Писемского. По свидетельству Анненкова, "Писемский слег в постель под действием одного из тех мрачных припадков недовольства и мнительности, которые стали находить на него всё сильнее и чаще после семейной катастрофы. По признанию жены покойного, она не ожидала близкого конца и думала, что припадок минуется, как все предшествовавшие ему и разрешавшиеся обыкновенно грустью и физическим изнеможением. Но это было уже последним проявлением исстрадавшегося организма, лишенного всех нужных сил сопротивления, и перешло в предсмертную агонию. Января 21-го 1881 г. Писемского не стало". Полагая, что мы вполне достаточно определили характер и значение таланта Писемского при обзоре лучших его произведений, считаем нелишним завершить биографию следующей характеристикой его П.В. Анненковым:

> "Это был замечательный художник и в то же время *простой* человек в благороднейшем смысле слова. Сколько симпатий, неудержимого влечения к человеку, добрых чувств и мыслей пробуждает один этот эпитет: "простой человек", когда он прилагается к деятелю, имевшему общественное значение! Писемский заслужил его вполне.
>
> В наш век составления огромных состояний, как и огромных репутаций, он оставался равнодушным к подстрекательствам честолюбия и тщеславия. Он, наоборот, мысленно участвовал в энтузиазме общественного мнения, когда оно присуждало награды и апофеозы истинной заслуге и достоинству, не думая вовсе о своих правах на такое же отличие. Мы уже сказали, что всякое подобие зависти было чуждо душе его, как равно и всякое усилие обратить на себя внимание публики, выступив кандидатом на ее исключительное благоволение. Свою ношу таланта, изобретательности, наблюдения он нес чрезвычайно

скромно в течение всей жизни, не имея и в помысле выдавать ее за вместилище необычайных открытий и довольствуясь той оценкой ее, которую получал вседневно и обыкновенным путем хладнокровной трезвой критики. Облик его перейдет совершенно ясным и определенным к потомству и не помрачится никакими последующими разъяснениями и разоблачениями, потому что все разъяснения и разоблачения он испытал и перенес уже при жизни лица, которое его носило. Несмотря на обычную ему резкость выражения в мыслях и образах, Писемский был еще добродушнейшим человеком своего времени. Особенно же выделялось одно его качество. Он считал великим бедствием на земле несправедливость, оказанную человеку, и притом бедствием столько же для потерпевшего от нее, сколько и для того, кто в ней провинился. Мы могли бы привести несколько примеров, когда наговоры какого-либо дружеского кружка на намеченную им жертву, как часто бывает с ними, погружали его в недоумение, почти в ужас, и заставляли морально страдать, отыскивая их причины и доводы… Если болезни, слабости, падения Писемского приравнивали его к толпе, то, с другой стороны, он разделял с нею и ее гнев, и негодование на людскую несправедливость, ее презрение и отвращение к торжеству нравственного безобразия на свете и ее любовь к единственному оружию, находящемуся в ее распоряжении, – насмешке, карикатуре, памфлету. Мы находим, что *простой* человек такого рода заслуживает стать рядом с теми героическими фигурами, какие по справедливости воздвигало наше общество в своем умственном пантеоне таких людей, которыми оно гордится и заслугу которых высоко ценит”.

notes

Примечания

1

Непринужденные разговоры.

2

Реплики в сторону, про себя *(ит.)*.

3

См. биографию Писемского С.А. Венгерова, СПб, 1884 г., стр. 45.

4

Курсив Тургенева.

Мнение это, очевидно, не являлось оригинальным мнением самого Писемского, а было заимствовано им от московских друзей-почвенников, таких, как Ап. Григорьев и пр.

6

От фр.: prison de Clichy – когда-то долговая тюрьма в Париже, находившаяся на одноименной улице.

7

Парадировать – щеголять, франтить напоказ *(Словарь В. Даля)*.

8

Нутка – ну, давай, берись, делай *(Словарь В. Даля)*.